

Филиппов М. А.



ПАТРИАРХ НИКОН

ТОМ 1

РОССИЯ ДЕРЖАВНАЯ

Россия державная

Михаил Филиппов

Патриарх Никон. Том 1

«Public Domain»

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Филиппов М. А.

Патриарх Никон. Том 1 / М. А. Филиппов — «Public Domain»,
— (Россия державная)

ISBN 978-5-486-03936-2

Филиппов Михаил Авраамович (1828—1886) — юрист, публицист и писатель. Родился в Николаеве. Воспитывался в Ришельевском лицее, откуда перешел на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. По окончании курса со степенью кандидата прав Филиппов посвятил себя юридической и журнальной деятельности, публикуя в периодике статьи по юридическим вопросам, большая часть которых вошла в наиболее значительный его труд — двухтомник «Судебная реформа в России» (1872—1875). Кроме того, перу Филиппова принадлежат романы «Скорбящие» (был изъят из обращения), «Рассвет» и «Патриарх Никон», а также историческая повесть «Под небом Украины». В этом издании публикуется исторический роман «Патриарх Никон», в острой динамичной форме знакомящий читателя с одной из самых трагичных страниц истории Российского государства — расколе церкви, осуществленном патриархом Никоном, о становлении православия на Руси, неисчислимых бедствиях русского народа, гибели бесценных сокровищ иконописи, о сути старообрядчества и силе духа русского человека. В первом томе представлена первая книга романа, которая рассказывает о том, как простой мальчик Никита Минин из крестьянской мордовской семьи вырастает до Патриарха Московского и всея Руси.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03936-2

© Филиппов М. А.

© Public Domain

Содержание

I	6
II	9
III	13
IV	16
V	20
VI	24
VII	33
VIII	40
IX	43
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Филиппов Михаил Авраамович

Патриарх Никон. Том 1

I

Мордовский шаман

90 верстах от Нижнего Новгорода, в теперешнем Княгининском уезде, в 1605 году стояло село Вельманово, или Вильдеманово, а по раскольниковым источникам – Курмыши. Местность эта была трущобная, и село раскинулось в сторонке от дорог, в лесу. Все представляло в нем бедность, если не прямо нищету населения – старые избы, ветхая церковь.

Все постройки, потемневшие от времени, как-то теснились друг к другу, как бы из опасения не устоять одним.

Был прекрасный майский полдень. Деревья оделись уже листвой, запахло елью, сосною и березою, а певчие птички заголосили и защелкали на тысячи ладов.

Из одной из самых бедных изб вышел в это время крестьянин. Роста он был большого, мускулистый, плечистый, с светло-русою бородою; но голубые глаза богатыря светились такой добротой, а все лицо таким добродушием, что казалось, будто голова на этом туловище чужая.

Крестьянин с озабоченным и оторопелым видом, без шапки выйдя из избы, взглянул в ту сторону, где была церковь, и, перекрестясь, направил туда шаги свои.

Он подошел к небольшой, но чистой избышке священника и остановился у ворот; черная мохнатая жучка было облаяла его, но, узнав мужика, стала к нему ласкаться.

На лай собаки вышел сам батюшка – невысокий человек, с редкою бородою и умными глазами.

– А, Минич, это ты, сердечный... что скажешь? Аль жена родила?

– Бог сподобил, – ослабил белые зубы мужичок, целуя руку батюшке, – сына дал, и имя ему нареки, отче. Благослови, отец Василий, молитву прочитай над младенцем.

– Сейчас... сейчас, – засуетился отец Василий.

Несколько минут спустя он вышел в епитрахили, с крестом и молитвенником. По дороге он заговорил, обращаясь к Миничу:

– Сегодня память мучеников Исидора и Максима, святого Исидора юродивого; а также преподобных Никиты и Серапиона, – выбирай имена, все Божьи угодники¹...

Минич призадумался, и мысль ему пришла: один Исидор был великомученик, другой юродивый, уж будет ли хорошо назвать так и моего единородного; уж лучше назову его именем одного из подвижников Христовых – аль Никитой, аль Серапионом... И в этих мыслях он отвечал батюшке:

– Женка что скажет... дело женское... она назовет, а батюшка благословит.

– Пушай так.

Пришли они в избу. Внутри чистота, а на полатах сидит молодая женщина, белолицая, с добрыми темно-серыми глазами, да держит младенца в пеленах.

В парадном углу образ Божьей Матери, весь в шитых полотенцах, да лампадка горит, а тут же стол и на нем хлеб-соль да три свечки восковые.

¹ По Ивану Шушерину, Никон родился в 1605 году, а раскольники показывают его рождение в 1613 году. Но первое вернее: Никон был моложав и мог показывать себя моложе; Шушерину же, как его службе, лучше был известен год его рождения. Раскольники показывают день его рождения тоже 21 мая; но так как по обычаю давали новорожденным имена тех святых, в какой день они родились, а потому мы считаем день его рождения 26 мая.

Стал батюшка у образа, а Минич в это время подошел к жене и перешептывался об имени, какое нужно дать новорожденному, и жена его остановилась на Никите.

– Никой буду звать, – пояснила она.

Минич передал батюшке желание жены, чтобы младенца наречь Никитой.

Батюшка совершил благословение и, когда кончил, сказал хозяйке:

– Ну-ка, Марианна, теперь похвались ребенком...

Та раскрыла младенца, он был необыкновенно крупен.

– Экий богатырь, – невольно воскликнул батюшка, – а родить-то какво было!

– Три дня мучилась, – застонала родильница.

– И Бог воскрес в третий день, а в сороковой вознесся в славе одесную Отца, – произнес вдохновенно священник. – Благодать Божья да почиет на младенце, и да будет он подвижником Христа, как святой Никита...

И пока Минич стал готовить угощение батюшке, тот обратился к хозяйке.

– Дед мой, – так рассказывал он, – умер очень стар и помнил многих царей; а отцу моему рассказывал об опричнине, и о казнях лютых. Бысть глад, – присовокупил он, – по всей земле русской, а больше в Заволжье: во время жатвы дожди были великие, а за Волгой мороз хлеб побил, и люди помроша; а зима студена и снега паче меры. Тут игумен Спасский, Маркел, Хутынского монастыря, оставя игуменство, жил в Антоновом монастыре, да сотворив житие Никите, епископу Новгородскому, и канон, поехал к Москве... А после святой, гляди, и обрели мощи святого Никиты и перевезли их в Москву... И стал святой Никита чудо творить, что и словами не опишешь... Великий чудотворец!

Священник набожно перекрестился, примеру его последовали и хозяева.

Помолчавши немного, батюшка продолжал:

– Был еще святой столпник Никита, игумен Переяславский... Великий чудотворец...

Жил он в столпе... то было в княжение Всеволода Третьего. Юный князь Михаил, сын Всеволода Чермного, немощен был и, услышав о чудесах столпника, поехал к нему в Переяславль. Принесли недужного к столпу, он пал ниц и рек: «Св. отче, прости мои согрешения и исцели мя недостойного раба Божьего». Поднял тогда свой жезл столпник и рече: «Господь Бог прощает кающихся, и имя его исцеляет недужных». – Прикоснулся он жезлом к Михаилу и крикнул: «Христос воскрес, встань и ты». Князь встал, исцеленный и радостный; а бояре срубили крест и надписали на нем 6694 год (1186). Паломники и теперь ходят туда и приносят оттуда по кусочку креста.

Едва отец Василий кончил рассказ, как появился на пороге шаман мордовский из ближайшего мордовского селения. Каждое лето он нанимал на сенокос Минича.

Увидев батюшку и новорожденного, он догадался, в чем дело, и спросил:

– Сына Бог дал?

– Сына, – отвечал хозяин.

Тогда шаман пошептал какую-то молитву и, подойдя к хозяйке, сказал:

– Покажи сына, не сглажу; отплюешь три раза, а я скажу, чем он будет.

Мать неохотно раскрыла младенца. Взглянув на него, шаман затрепетал, упал на колени, стал бормотать какие-то молитвы, потом произнес восторженно по-мордовски:

– Будет он царь не царь, а выше царей, князей и бояр; будет он и богат, и нищ, и знатен, и убог; выстроит он не то города, не то монастыри; будут туда ездить и цари, и бояре, и князья, будут за него молиться и будут проклинать; будут люди злобствовать, что царь и великий дух его взыскал, но он победит всех врагов; блажен он будет, как ни один из живущих здесь, и землю он прославит, на которой он родился и где будет погребен...

С этими словами шаман сорвал с своего ожерелья одну золотую монету и, кладя ему в пеленки, поцеловал его, со словами:

– Пусть это золото уместит тебе дорогу, какую уготовал тебе сам великий дух.

На хозяев эта восторженность подействовала неприятно, и на лицах их выразилось не то недоумение, не то страх.

– Что ты, что ты, – заметил скромно Минич. – Мы люди простые, а изба наша и ветха и холодна, да и не за что Богу взыскать нас и сына нашего милостью своею.

– Не говори это, Минич, – серьезно и строго произнес батюшка, – коли Бог захочет взыскать своей милостью кого, то и взыщет, хоша ты и крестьянин, и в убожестве. Родился Христос Бог наш в яслях, да на поклонение пришли к нему и волхвы и цари языческие, – и младенцу сему дано знамение – привел к нему Сам Господь на поклонение шамана языческого... Да будет же знамение это и путем Господним. Пью здравицу за новорожденного! – И с этими словами батюшка осушил стоявший на столе сосуд с пенным вином.

II

Мне путь – один лишь монастырь

Когда Ника стал сознавать все окружающее, ему было так хорошо и привольно. Мать так нежно с ним обращалась, да и отец, как возвратился из города, куда он часто ездил по извозу и со своими хлебушком, или пряников, или орехов навезет, а иногда и сапожки, и ситцу на праздничную рубашонку. И выйдет Ника из избы на улицу, и весело ему там щеголем поиграть с детьми: зимою в снежки да в салазки, а летом – в прятки в ближайшей лесной гуще.

Но слегла однажды зимою мать, застонала и более не вставала, даже Нику не узнавала, а к Рождеству перестала она говорить, обмыли ее и положили на стол, потом явился священник, читал что-то, кадил, потом простились все с его матерью и его заставили поцеловать ее. Когда он приложился к ней и почувствовал холодное ее тело, да увидел закрытые ее глаза, – он испуганно зарыдал и обмер.

Когда он очнулся, он увидел возле люльки своей какую-то чужую женщину с заплетенными косами.

– Мама! – стал он кричать.

– Мамы твоей нет...

– Где мама? – неистово заревел Ника.

– Я буду тебе мамой, – сердито закричала на него сидевшая близ него женщина.

Ника испуганно сдержал свой крик и, оглядев крикнувшую на него женщину, узнал в ней соседку, ходившую часто к ним и через которую мама нередко бранилась с отцом.

Ника приподнялся из люльки и увидел сидевшего на скамье у образов отца; он что-то делал.

– Где мама? – отчаянно крикнул Ника.

Отец вздрогнул, подошел к нему и, обняв его, кротко сказал:

– Маму твою Бог принял.

И Ника повис у отца на шее.

– Полно-то баловать парня, – озлобилась сидевшая здесь женщина; вскочила со своего места, насильно оторвала его от отца и, ударив его несколько раз, бросила обратно в люльку.

Больше Ника ничего не помнил; когда же вновь очнулся, то увидел ту же женщину, только с платком на голове.

Ника испуганно на нее взглянул, вспомнил, как она оторвала его руки от шеи отца и как она больно его била.

– А паренек-то очнулся, – послышался ее резкий голос. – Неча сказать – живуч, точно котенок...

На это замечание отец подошел к люльке и нагнулся к Нике; тот боялся его обнять, но поцеловал его горячо. При этом он почувствовал, что горячая слеза отца капнула ему на лицо. Эта капля была чудодейственна – Нике сделалось так легко и так захотелось ему жить; а тут, как нарочно, солнышко-ведрышко заглянуло в окно...

С этого дня Нике становилось все лучше и лучше, и он вскоре встал из своей люльки, а матери все нет как нет, спросить же не смеет, – еще сердитая новая мать прибьет.

Растет Ника не по дням, а по часам, мачеха поэтому и злобствует – то нужно другие сапоги купить, то рубашонку новую шить, а не то Ника много ест, Ника не там сидит, не там стоит.

И все это говорится с бранью и ему и отцу, а зачастую ни за что вихры натянет, уши нарвет или чем ни на есть отколотит да накажет – отцу-де ни гугу! Иначе со света сживу...

Была осень; отец и мачеха куда-то ушли и дома не ночевали. В избе было холодно, и Ника со страху и с холоду забрался в печь и сладко в самой глубине ее заснул, свернувшись, как котенок. Спит он, и снится ему его мама: в белой она одежде, светлая, ясная такая и как будто свет от нее исходит. Простирает он ей свои худенькие ручки, хочет ее обнять и кричит:

– Мама, возьми меня от злой мачехи... отчего ты ушла?..

Но та глядит только на него любовно, ничего не отвечает, а тут что-то жмет его голову и что-то душит: он вскрикивает и просыпается... Оглядывается он, силится вспомнить, где он, и видит, что он в печи, а тут кто-то наложил в печку дров и подложил уже огонь, дрова чуть-чуть еще тлеют, и дым выносится в трубу, но через несколько минут или дым его задушит, или он сжарится. Он силится выбросить дрова, но дым от потухших головней душит его страшно. Начинает он вопить, и, к счастью, кто-то входит в избу, выбрасывает дрова и вытаскивает его из русской печи.

Ника от страха и удушья падает в обморок: спасительница его обливает ему голову водою и приводит его в чувство; он узнает одну из деревенских вдов Ксению.

В это время входит мачеха и, узнав в чем дело, бьет его жестоко и вопит:

– Вот что вздумал, в печи спать? Да хоша б и сгорело зелье...

Вдову возмутило это, и она начала умолять мачеху отдать ей Нику на воспитание.

– Возьми, корми и одевай его, да с тем пушай мне служит.

Согласилась на это вдова и взяла к себе ребенка да стала ходить за ним, как родная мать...

Проходит так время, а он все растет да растет, так что мачеха сначала гусят заставляла его пасти, потом свиней, а там и скотинку загнать в хлевок и дров аль воды принести.

Той порой и родись у его мачехи девочка; вначале ему весело было видеть живое существо, которое ему улыбалось, но на другой годок мать стала заставлять его носить ее по целым дням. Измается Ника своею ношею и посадит под дерево свою сестренку, а сам глядит, как муравьи ташут разные разности в гнездо свое; и диву он дивится, как такое маленькое существо имеет такую сметку: обойдет и камушек, и лужицу; и думает Ника: как буду большой, все это узнаю, обо всем проведаю, порасспрошу больших; спросил бы маму – прибьет, отца спрошу, а тот – «так Бог дал». Кто же тот Бог? Спроси, говорит, батюшку, тот больше меня знает.

И сделался батюшка идиолом Ники, потому что о чем бы он ни спросил отца, тот все на батюшку указывает.

И вот Ника зачастую носит сестренку к избе батюшки и ждет по целым часам, чтобы увидеть его, а тот, как, бывало, выйдет из избы, непременно погладит его по головке и замолвит к нему несколько ласковых слов да скажет:

– Расти, расти, богатырь мой, выйдет из тебя человек. А «Отче наш» помнишь?

– Помню, батюшка.

– Так научу тебя «Богородицу».

И сядет батюшка на скамью у избы своей, и учит он терпеливо Нику «Богородицу», и дивится он его смышленности и памяти.

Так за лето батюшка выучил его многим молитвам, кондакам, ирмосам и акафистам, а как настала зима, упросил он вдовушку Ксению и Минича, чтобы они посылали к нему Нику для изучения грамоты.

За одну зиму Ника уже бойко читал и выводил довольно правильно каракульки тогдашней письменности. Между тем жизнь его сделалась невыносима, мачеха давала ему непосильные работы, подымала его с петухами и позволяла ему идти спать к Ксении, когда ей уже самой невольно вынести.

И чего Ника не делал? И работу жнеца, и работу швеи. И корову выдой, и лошадь убери; сапоги почини и рубаху аль кафтан заплатай.

Всему этому он не перечил и все делал с улыбкой, и работа у него шла исправно, да мачеха всегда бывала недовольна, и вместо поощрения на него сыпались лишь тумачи куда и чем ни попало.

Злобило это Нику и думал он думу:

«Господь, говорит батюшка, милосерд, всепрощающий, всеблагий, а людей зачем он создал такими злыми, неправедными...»

И заходит однажды Ника к батюшке, чтобы тот разъяснил ему это: мысль эта мучит и жжет его, она требует ответа.

На вопрос Ники батюшка задумался и, вздохнув, сказал:

– Не создал Бог людей злыми, а люди сами делают себя такими, они не хотят учиться слову Божьему, а оно говорит только о любви. Видишь ли, Ника, одним крещением человек не делается добрее, а нужно еще крещение духовное.

– Что такое крещение духовное? – спросил Ника.

– Крещение духовное – это слушание и усвоение себе слова Божьего; ибо оно одно только ведет к Царствию Небесному и к богоугодной жизни, ко всякому благу и душе спасению.

– Батюшка, – воскликнул тогда Ника, – дай же и мне услышать это слово Божье, чтобы спастись и попасть в Царствие Небесное.

– От тебя это зависит, Ника, я уговорю отца твоего, чтобы он отдал тебя ко мне, с тем что я выучу тебя и Священному Писанию, и поучениям Святых Отцов, и разным житиям святых угодников и подвижников. Выучу я тебя, как служить обедню, вечерню, заутреню, молебны и другим службам и всяким дьяконским обязанностям. И будешь ты со временем аль дьякон, а может быть, и повыше. А ты это и мне сослужишь службу: я без дьякона, и ты будешь помогать мне в церкви.

– Батя и мама не отпустят меня, – сказал Ника.

– Отпустят, коли скажу, что заработки твои пойдут к ним.

Ника схватил руку батюшки, поцеловал ее и прослезился.

– Да только поскорее, – всхлипывал он.

На другой день батюшка зашел к Миничу и представил ему такую блестящую будущность для Ники, что у самой мачехи глаза разбежались, и они отпустили его к священнику.

Отец Василий, как малоросс, воспитывался в Киеве и был для того времени очень просвещенный человек; он не только изучил всю тогдашнюю богословскую литературу, но знал почти наизусть все летописи и греческий язык; притом он обладал светлым природным умом.

На Нику он имел огромное влияние своею доброю – тот терпеливо слушал его и в несколько лет изучил все то, что сам батюшка знал, а церковную службу он изучил всю наизусть.

Кроме батюшки в доме было еще одно существо: это девочка, дочь священника, тремя годами моложе Ники.

Последний вообще любил детей и в сестренке своей души не чаял и часто носил ей гостинцы, то со свадьбы, то с крестин, на которых он служил с батюшкой. О дочери же священника и говорить нечего: он по целым часам просиживал с нею и рассказывал ей о божьих людях, угодниках, подвижниках, о народах и землях; только один греческий язык был выше ее понятий.

Так они росли вместе и жить не могли друг без друга; горе и радость одного были горем и радостью другого.

Мачеха заметила это, и сделалось ей и больно и досадно, что Ника отдаст предпочтение пред ее дочерью дочери священника, и вот зашла она однажды к батюшке и наговорила ему с три короба: что он-де не глядит за своею дочерью, а люди смеются, что они с Никой точно жених с невестой. Озлился батюшка и на Минишну и на дурные толки, выругал доносчицу, но с этого времени он удалял Нику от своей Паши. Молодые люди это заметили, и им сдела-

лось обидно и больно, но в угождение отцу они начали при других удаляться друг от друга и втихомолку перешептывались.

Таинственность и запрет расшевелили кипучую и нежную натуру Ники, и он однажды поцеловал девушку... всю ту ночь он не спал, плакал и молился; вспомнил он об угодниках, умерщвлявших плоть свою, и о дьяволе, принимающем различные образы для искушения человека, и сделалось ему страшно и за грех свой, и за свой поступок. Хотел он ночью же разбудить батюшку, броситься к его ногам, исповедаться и просить прощения его согрешениям.

Он уже поднялся со своего ложа, вот уж он у постели старика, но из другой комнаты слышится голос девушки: она бредит во сне: «Ника, – говорит сладкий голосок, – Ника, люблю тебя... Люблю, мой сокол»...

Вне себя Ника идет в другую комнату, не помня себя, обнимает спящую и горячо... горячо целует ее.

Очнувшись, он одним скачком вернулся к своему ложу, бросается на постель и, уткнув лицо в подушку, рыдает и шепчет:

– В монастырь... мне путь – один лишь монастырь...

III

Макарьевская обитель

На другой день Ника избегал встречи и с батюшкой, и с его дочерью, забравшись в гущу леса. Он написал священнику письмо, в котором, изложив свое желание посвятить себя служению Богу, извещал его, что он удаляется в монастырь Святого Макария.

Положив письмо это на столик, Ника ночью поднялся тихо со своего ложа, вышел из избы и, взяв на дворе из повозки приготовленный им днем посох и котомку с хлебом, упал на колени, помолился и вышел за ворота.

Тихою поступью направился он из села. Ночь была лунная, летняя, и вся окрестность живописно рисовалась в его глазах. Ему сделалось жаль того места, где так много он страдал и где вместе с тем он был так счастлив. Сделалось ему жаль даже ветхой их церкви, развалившихся заборов, деревенских собак и всей неприглядной здешней обстановки.

Сердце у него сжалось, слезы полились из глаз, и он хотел было уж вернуться в село, но что-то как будто шепнуло ему: «Это плоть говорит в тебе – не станешь подвижником, коли не будешь умерщвлять плоти своей».

При одной этой мысли Ника стал читать «Помилуй мя Боже» и, перекрестясь три раза, пустился в дальнейший путь к Унже.

Чтобы рассеять свои грустные мысли, стал Ника вспоминать, что рассказывал ему батюшка о святом Макарье, которого называли Желтоводским.

Этот великий подвижник основал монастырь на берегу Унжи, вблизи черемисов, мордвы и казанских татар, чтобы внести туда свет Христов. У этого-то монастыря раскинулся маленький городок Макарий. Во времена княжения Василия Темного монастырь был сожжен казанскими татарами, а монахи или перерезаны, или полонены; горожане же разбежались, но потом место это немного населилось, так как торговый путь через него шел в Казань.

Но Бог судил этому месту иное; при отце Ивана Грозного казанский царь перерезал у себя без причины всех московских купцов и посла государева Василья Юрьева (одного из предков ныне царствующего дома). Великий князь Василий Васильевич пришел в великий гнев и, отправившись в Нижний Новгород, послал царя Шиг-Алея, князя Василия Шуйского – с судовой, а князя Бориса Горбатого с конною ратью.

Военачальники резали и истребляли все на пути, а при устье Суры основали крепость; оставив здесь гарнизон, Алей и Шуйский возвратились в Нижний.

Весною полки, гораздо многочисленнейшие, выступили в Казань, чтобы завоевать это царство.

Войско простиралось до ста пятидесяти тысяч человек, в числе их были наемники из литовцев и немцев.

Войсками командовали Шиг-Алей, князь Иван Бельский и Горбатый, Захарьин (тоже один из предков царствующего ныне дома), Симеон Курбский и Иван Лятцкий. Царь казанский Саип Гирей, узнав об этом, бежал в Крым, оставив в Казани 13-летнего племянника своего Сафа Гирея.

Татары, черемисы и мордва присягнули мальчику и готовились к обороне.

Главный воевода Иван Бельский 7 июля высадил за Казанью пред Гостиным островом судовую рать и, расположив войска на берегу реки, двадцать дней бездействовал.

Между тем казанцы вышли из крепости, расположились тоже лагерем и не только беспокоили, но истребляли и травы и хлеба, чтобы оставить нас без припасов.

Воеводы наши почему-то глядели на это хладнокровно, и когда в Казани сгорела крепостная деревянная стена, то на глазах наших войск казанцы построили новую.

Вдруг разнеслась весть, что наша конница перерезана; войсками нашими овладел такой страх, что они чуть-чуть не разбежались; но оказалось, что только один отряд уничтожен черемисами; другой же, напротив, на берегу Свяги одержал над черемисами и казанцами победу.

Войска ждали, между прочим, из Нижнего подвоза пушек и припасов, которые князь Иван Палецкий должен был доставить на судах.

Но с ним случилось несчастье: в том месте Волги, где имеются острова, черемисы запрудили ее камнями и деревьями. Когда суда князя Палецкого подошли к этому месту, они, вследствие сильного течения реки, разбились о камни, а черемисы с высокого берега бросали в русских бревна и камень.

Несколько тысяч людей были убиты или утонули, и князь, оставив в реке большую часть военных снарядов, лишь с немногими судами достиг стана. Отсюда и пошла в народе поговорка:

С одной стороны черемисы,
А с другой – берегися.

Медлить дальше нельзя было, и Иван Вельский наступил на Казань. Казанцы, черемисы и мордва заперлись в крепости.

Началась осада, и Казань едва бы выдержала ее, тем более что немцы и литвины жаждали штурмовать крепость, но воеводы предпочли взять с Казани подарки и под предлогом, что казанцы пошлют в Москву послов с повинною, – отступили. Но их ожидала Божья кара – они заразились в Казанской области какою-то болезнью, и более половины рати, то есть около ста тысяч воинов, умерла на пути отступления.

После этого бесславного похода было заключено с казанцами пятилетнее перемирие; но государь запретил русским купцам ездить для торговли в Казань, а для этого назначил город Макарьев.

Так возникла знаменитая ярмарка Макарьевская, впоследствии перенесенная в Нижний Новгород, монастырь же Святого Макария усердием купцов вновь отстроен.

В эту-то святую обитель Ника устремился, чтобы сподобиться подвижничества на пути просветления татар, черемис и мордвы.

Шел он в таких думах три дня, и на четвертый, голодный, весь в пыли, он приблизился к монастырю.

Было послеобеденное время, и колокола монастыря звали к вечерне. Не встречая никого на дворе монастырском, Ника подошел к колокольне, чтобы послушать музыкальный перезвон и дожидаться, когда звонарь, окончив его, сойдет вниз.

– Единогласие, – подумал Ника, – производит такое успокоение, и у своего батюшки я ввел это при богослужении, а то в других приходах: иерей читает одно, дьяк другое, клир третье, а народ бормочет на разные лады, кто «Отче наш», кто «Богородицу».

Мысль эту перебил сошедший с колокольни низенький подслеповатый иеромонах. Он был в одном подряснике и в шапочке. Увидев высокого, почти трехаршинного статного крестьянина, с палкою и котомкою на плечах, он принял его за паломника.

– Откелева? – осклабил он желтые свои зубы.

– Издалека.

– Паломничаешь?.. Богоугодное дело... богоугодное...

– Не паломничаю, а поклониться пришел святым мощам Макария, поклониться и молить его заступничества у игумена сей святой обители, и да причислит он меня в виде послушника к святой вашей братии.

Иеромонах поднял вверх голову, взглянул на Нику и произнес полушутя:

– Да тебе в княжескую рать, а не в послушки; здесь тоже солоно хлебать – день-деньской в работе, а ночью на страже. И коли не грамотен, то век промаешься в послушках.

– Грамоте обучен и службу всякую церковную знаю; Евангелие, писание Святых Отцов и правила и греческую мудрость изучал...

Иеромонах прищурил глазки и сказал:

– Всякая ложь и гордость – бесовское наваждение... Откуда ты, паренек, мог у отца своего научиться так, да в такие годы... чай и двадцати нет.

– Без малого.

– Видишь, а наговорил с три короба; да вот мне с полвека, а дальше псалтыри не пошел... Иди со мною в братскую трапезу, там повечеряешь, а я схожу к отцу игумену, порасскажу о сказке твоей. Вишь, и двадцати нет, а греческую мудрость изучил.

С этими словами иеромонах поплелся вперед. Ника последовал за ним. Вечерня между тем отошла, и в обширную трапезную собралась вся братия.

Братия дали гостю почетное место и накормили его.

После трапезы иеромонах повел Нику к игумену.

Последний принял его в своей келье. Это был добродушный, ласковый старичок.

Игумен расспросил подробно, откуда он, где и чему учился. Старика удивила обширность его знаний и его природный ум. Красноречие же Ники привело его в восторг.

Побеседовав с ним более часу, он вдохновенно сказал:

– Да будет благословен приход твой в сию обитель, стезя твоя – стезя святого Макария, и да почиет на тебе, сын мой, благодать Божия и мое благословение. Аминь. Ступай с миром – тебе я назначил келью, отдохни с пути, а завтра, после заутрени, зайди ко мне для беседы.

Так водворился Ника в монастыре Святого Макария.

IV

Сын Козьмы Минича Сухорукого

Ника сделался вскоре в монастыре Никитой Миничем – все стали его уважать и любить.

Удаляясь от всех дрязг и сплетен и занимаясь или делом монастырским, или же изучением богослужебных книг, чтением Святых Отцов и греческих писателей, Никита Минич образовал свой ум, и многое из тогдашних порядков и в монастыре, и в церковной иерархии стало ему не нравиться.

Восстал он против не порядков и, к его счастью, нашел сочувствие в просвещенном игумене – в монастырскую службу введено единогласие и стройный порядок.

Дошло об этом в город Нижний, и оттуда стекались богомольцы в монастырь, в особенности в дни праздничные.

Однажды вечером, пред каким-то праздником, соборная церковь монастыря была особенно полна.

Монахи на клиросе пели, а громовый голос Никиты Минича раскатами разносился по сводам храма и производил неизъяснимое религиозное впечатление, – вдруг к клиросу подошел высокий, плечистый боярин.

Остановясь у клироса, он благоговейно молился, а когда кончилась вечерня, он, приложившись ко кресту и иконам, подошел к Никите Миничу.

– Пожил я много на веку своем, много слышал, но такого благолепия не видел, и все говорят, дело то твоих рук; исполать тебе и слава и честь, батюшка, соколик, уж не побрезгай, приезжай ко мне в Нижний хлеба-соли откушать.

Никита Минич стал отказываться. Боярин настаивал.

Старик разобиделся и сказал:

– Ну, коли не хочешь, Бог тебя прости, а я, многогрешный раб Божий, думный дворянин Нефед Козьмич Сухорукий, – подавно.

Едва послышал дорогое тогда для каждого русского и в особенности для нижегородца имя, как Никита Минич схватил руку боярина, поцеловал ее и восторженно произнес:

– Не заслужил я еще чести великой сидеть за столом именитейшего думного боярина, прости меня, непременно приду когда-нибудь, и накорми хоть с челядью.

– Скромн ты, и тебе за это и честь и слава, но святое Евангелие гласит: последние да будут первыми. Будешь ты как мой гость сидеть на самом почетном месте. Простой был человек отец мой, по кличке Минич... мясник... прасол, а видишь, как взыскал меня своею милостью царь, ясный сокол мой, красное солнышко, – в думные дворяне пожаловал отца моего и меня. Теперь не побрезгай хлебом-солью; бывают у меня люди торговые, гости из Москвы, а ты человек молодой, почет и знакомство тебе не повредят.

С этими словами Козьма Минич простился с Никитой Миничем и вышел из монастыря – последний проводил его до Макария.

Спустя неделю из монастыря послали Никиту в Нижний. С трепещущим сердцем приближался он к терему Сухорукого, где временно остановился сын Минича, так как бывший терем его уступлен им был для невесты царя Хлоповой. У ворот стояло много троек, с бубенчиками, – лошади все кровные и охотницкие. Кучера в поярковых шляпах с павлиньими перьями да в армяках суконных с серебряными казанскими пуговицами. Все это были приезжие гости.

Когда скромный послушник, оставив лошадку у ворот, приблизился к сениям, навстречу вышел к нему Нефед Козьмич с хозяйкою дома, Марьею Ивановною Хлоповою; Нефед поцеловался с ним, взял от него просфору и ввел его в трапезную. По дороге Нефед скороговоркой сказал:

– Вот уже девятый годок, как схоронил я в Спасопреображенском соборе отца моего Минича, а теперь в поминальный день я там панихиду служил... Теперь у меня поминальная трапеза. Зайди... милости просим...

Они вошли в столовую.

Гости сидели уж чинно за столом. Сухорукий ввел туда Никиту Минича, и когда тот помолился пред иконой, он указал ему место под образами.

Послушник оробел, сконфузился и не хотел идти.

– Ступай, – сказал ему Нефед, – тебе, быть может, и повыше придется сидеть. Гляди, уж теперь благодать Божия на тебе. Коли б у отца моего таких молодцов была хоша бы только сотня, то весь мир был бы в полону у батюшки царя. Вот и я хоть недостойный раб, а сидел с батюшкою царем да именитыми боярами за одним столом... Теперь за молитву и трапезу.

Настоятель собора, присутствовавший здесь как единственный представитель духовенства на обеде, прочитал своим ясным и громким голосом молитву, и все взялись за трапезу.

– А расскажи-ка, Нефед Козьмич, – сказал вдруг один из гостей, – как сподобился ты сидеть с батюшкою царем да с именитыми боярами за одним столом?

– Длинно и долго рассказывать...

– Рассказывай, и трапеза слаще будет, коли услышим разумное твое слово, Нефед Козьмич, – заметил один гость.

– Не буду, – начал Сухорукий, – рассказывать то, что вам ведомо, а лишь то, как Бог сподобил узреть нам на царском пресветлом престоле красное солнышко Михаила Федоровича. Было то постом: собор в Москве избрал на царство отрока Михаила Федоровича, но не знал, где он пребывает; люди же сказывали, что он аль в Ярославле, аль в Ипатьевской обители с матерью-монахиней. Вот и избраны в челобитчики к нему Феодорит, архиепископ Рязанский, три архимандрита, три протопопа, да бояре Федор Иванович Шереметьев (родич царский) и князь ростовский, да окольничий Головин, со стольниками, стряпчими, приказными людьми, жильцами и выборными людьми из городов. В день святых угодников тверских Саввы и Варсонофия, Савватия и Ефросина от собора все эти челобитчики с соборною грамотою уехали после молебна из Москвы. На десятый день они прибыли в Кострому по вечерне и послали от себя в Ипатьевскую обитель просить отрока Михаила Федоровича назначить день, когда они смогут представиться пред его светлые очи. Ответ был: на другой день. После оповестили об этом костромского воеводу и всех горожан, а на другой день, поднявши иконы, пошли все крестным ходом в Ипатьевский монастырь. Инокиня Марфа и отрок встретили за монастырем послов, приложились ко кресту и к святым иконам, но когда архиепископ вручил царю соборную грамоту и провозгласил об его избрании собором на царство, отрок заплакал и сказал: «Не хочу быть царем!» – «И я не благословляю его на царство!» – возопила инокиня-мать. И оба не восхотели идти в церковь. Тогда епископ упросил их войти хотя в храм и принять грамоту. Тогда инокиня-мать стала говорить послам: «У сына-де ее и в мыслях нет на таких великих преславных государствах быть государем, он-де не в совершенных летах, а Московского государства всяких чинов люди по грехам измалодушествовались, дав свои души прежним государям, не прямо служили...» Инокиня-мать заплакала и укоряла послов и в измене Годунову, и в убийстве Лжедмитрия, в сведении с престола и выдаче ляхам Шуйского... Послы же со слезами молили и били челом Михаилу, но тот не соглашался. Тогда послы пригрозили ему, что Бог изыщет на нем конечное разорение государства. Инокиня-мать тогда лишь стала благословлять сына, приговаривая со слезами: «Надо положиться на праведные и непостижимые судьбы Божии». После того Михаил, крестясь, плача и прижимаясь к матери, взял из рук архиепископа царский посох.

Но юный царь медлил с выездом в Москву, и костромские воровские казаки (а не поляки) хотели его полонить в обители; Сусанин из села Домнино дал знать о том царю, и тот удалился в Кострому, а потом выехал спустя несколько дней... Поднялись в Москве всяких чинов

люди и вышли навстречу царю, плакали, целовались друг с другом, как в праздник Христов, и отвели царя в Успенский собор. Здесь все духовенство с казанским митрополитом Ефремом отслужили молебен, и когда царь приложился к кресту, то все подходили и целовали у него руки. Из собора царь уехал в Грановитую палату, а инокиня-мать в Вознесенский монастырь. Хоромы же, которые желал иметь царь, Золотую палату царицы Ирины с мастерскими палатами и сенями, а для матери деревянные хоромы жены царя Василия Шуйского, были без кровель, мостов, лавок, дверей и окошек, а в казне денег не было, да и плотников достать негде было. В день святой Ольги было свершено святое венчание царя митрополитом Ефремом. При венчании Гаврила Пушкин бил челом, что князь Пожарский пожалован царем в бояре, а он, Пушкин, только думный дворянин, что ему неуместно. Князь же Трубецкой бил челом на дядю царя, Ивана Никитича Романова, что тот-де будет при венчании шапку держать, а он, Трубецкой, только скипетр. Тогда царь велел записать в разряд, что для царского венчания во всяких чинах быть без места. На другой день праздновались царские именины. Зашел отец мой к князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому до обедни, поздравил его с царскою милостью и поднес ему хлеб-соль на блюде; а он, сердечный, обняв, расцеловал отца и заплакал: «Не тебе поздравлять бы меня с боярством, а мне тебя, и не Ивану Никитичу Романову поднести было нужно шапку царю, а тебе, Козьме Миничу: коли б не ты, не быть бы и царю в Москве. Иду я теперь к обедне, и коли после службы царь пройдет мимо меня, – уж пушай не взыщут ни князь Трубецкой, ни Пушкин, сослужу им службу». – «Полно Бога-то гневить, – возговорил отец мой, – из-за меня ссоры не подымай, пойду восвоюси и поклонюсь святому Макарию, да сподобит меня сыном Божиим наречься, ведь сказано в святом Писании, блажени миротворцы»... А князь Дмитрий поклонился отцу моему и вышел. Остался отец мой у него; а князь подождал, когда после обедни стал царь принимать поздравления и допускать всех к руке своей, да и подойди к нему и стал на колени. «Я к тебе с челобитною, великий государь», – молвил он. «На кого, – нахмурил брови ясное солнышко наше, – да еще в церкви и в праздник наш». – «На твоего вновь пожалованного боярина князя Дмитрия Андреевича Пожарского, – молвил князь. – Неуместно ему быть боярином, коли Козьма Минич Сухорукий простой купецкий сын, не местно ему, князю, сидеть за царской трапезой, коли Козьма Минич будет сидеть с челядью». – «Прав и не прав ты, князь Дмитрий, – молвил тогда царь. – Мы из-за венчанья забыли свои обязанности, но поправить можно: с тобою местничал Гаврила Пушкин, а он думный дворянин; вот мы и по царской нашей милости жалуем Козьму Минича Сухорукова в дворяне думные, и будет он сегодня же с сыном за трапезою сидеть наряду с Гаврилою, а как он считает себя выше тебя, вот и Козьма твой Минич будет с ним сидеть выше тебя; а посему челобитную твою на меня и на князя Дмитрия возьми назад, а указ мой вели занести в разряд»... И сел отец мой и я за трапезой по указу государеву выше князя Пожарского... и... и... ясный соколик так любовно глядел на меня и напоминал романеей не обносить.

Нефед Козьмич заплакал.

Никто так внимательно не слушал этот рассказ, как Никита Минич: он, казалось, обратился весь в слух, и когда тот кончил, он поднялся с места и вдохновенно сказал:

– Вознес отца твоего, Козьму Минича, государь наш батюшка, светлейший царь, высоко, но сам он вознес себя еще выше: вся Русская земля знает его имя, и перейдет оно во веки веков во все уста и будет имя его славнее имен царей и князей земных, и прославится он как Маккавеи, погибшие за свою святую землю, и поставят ему праправнуки памятники, как некогда ставили их своим героям греки и римляне, и будет гордиться им не только Нижний Новгород, но и вся Русская земля. Аминь.

Речь эта произвела сильное впечатление на всех присутствующих, и все как бы оцепенели; но Нефед Козьмич, привыкший говорить в народе, не остался в долгу.

– Спасибо за честь, – сказал он тоже восторженно. – Но коль имя наше превознесется за то только, что мы уничтожили воров, то твое имя еще выше превознесется, ты будущий устроитель нашей церкви. Благодать Божья снизошла, и Дух Божий почит на тя.

– Аминь, – произнесли единогласно все присутствующие.

V

Суженого конем не объедешь

В Древней Руси монастыри наши, в особенности на бойких местах, были очень богаты и по составу своему имели настолько же духовный, как и мирской элемент. Источником их богатства было то, что и князья и бояре дарили их своими вотчинами, что и они и крестьяне их пользовались различными льготами. Притом в смутные времена в монастыри, имевшие крепкие стены и большие хлебные и иные запасы, стекались со своею подвижностью знатные и богатые люди. Самый состав братии обновлялся и пополнялся знатными и богатыми: совершая в продолжение всей жизни своей разные неправды, те приходили к концу дней своих отмаливать грехи свои. Поминовение усопших было тоже одною из причин обогащения церковей и монастырей – богатые грешники их поминали или поминали тех, кого они погубили.

Народная былина о Василии Буслаеве говорит, что Василий, пережив первую молодость в удалстве, вспоминает прокаченную буйную жизнь, много грехов у него на душе, надобно отмолить, и вот:

Приходит Василий Буслаевич
Ко своей государыне матушке:
Как вьюн около нее увивается,
Просит благословеньице велико:
Идти мне, Василью, в Ерусалим-град,
Со своею дружиною храброю
Мне ко Господу помолитися,
Святой Святыни приложитися,
Во Ердане реке искупатися...

Таковыми Буслаевичами были переполнены монастыри, а потому в них нельзя было искать ни знания, ни учености, ни подвижничества, и последнее было исключением из общего правила. В некоторых монастырях поэтому этот сброд вносил непорядок и даже разврат, в других же они вели себя благообразно и исполняли монастырский устав.

Монастырь Святого Макария принадлежал к последним, и Никита Минич, резко отличавшийся от остальной братии, не мог не повлиять на них сильно, тем более что юный послушник не проповедовал в то время аскетизм, а требовал только боголепия в церковном служении и восставал против разных суеверий, предрассудков и языческих обычаев. Подобная проповедь, очевидно, должна была иметь успех в монастыре, куда удалялись лишь или для безопасности, или же для проведения в мире старости; вот почему монастырь принял охотно его новшества, так как они разгоняли их скуку и однообразную жизнь.

Но настала Макарьевская ярмарка, и она разнесла весть об единогласии и согласии в пении и в церковном служении по целой Русской земле. Услышал об этом и старец, митрополит Казанский Ефрем, венчавший царя Михаила Федоровича на царство, и почтенный иерарх, проездом в Москву, остановился в монастыре, чтобы самому убедиться в новых монастырских порядках.

Выслушал митрополит вечерню, на другой день заутреню и обедню и по окончании церковного служения вышел из царских ворот и сказал со слезами умиления слово, сущность которого была следующая: он-де считает себя счастливым, что на закате дней своих он наконец услышал истинное боголепное церковное служение; затем он обратился к Никите Миничу и

сказал: «Когда ты, юноша, Богом посланный и Богом избранный, читал, то, казалось, ангелы с небес восхваляют Божью славу».

После же того, как митрополита разоблачили и он удалился в келью, где он поселился, он призвал к себе Никиту Минича и долго с ним разговаривал, удивляясь его мудрости и знаниям.

На прощание митрополит сказал:

– Сын мой, ты достоин быть служителем алтаря, выбирай, что хочешь: или быть иереем, или принять ангельский лик. Ты молод и, быть может, захочешь вкусить брачную жизнь; я не мешаю тебе, делай как знаешь и как тебе сердце и дух твой говорят... Я еще неделю здесь пробуду, ты сходи домой и поговори с отцом твоим. Помнишь заповедь: чти отца твоего и мать твою и благо ти будет на земле. Без благословения родителя несть спасения.

Никита Минич, бросившись к ногам митрополита, произнес растроганным и взволнованным голосом:

– Твое веленье, владыка, веленье Божье... Я сегодня попрошаюсь с братией, а там с Миничем и пойду просить благословения отца.

Братия, услышав о милости митрополита, советовала послушнику принять монашество. «Скоро будешь игуменом», – пророчили они.

Не так взглянул на это Нефед Козьмич, когда Никита Минич, придя к нему пешком из Макария, сообщил ему о решении митрополита. Он задумался и сказал:

– Митрополит прав, твори, что сердце тебе говорит. Но помни одно: ты молод и не должен зарывать в землю, что Бог тебе дал для его прославления. Погляди на себя, ты богатырь, каких мало; от работы не отказываешься, схимничаешь, а кровь так и бьет ключом в твоих щеках. Жениться нужно, народу нужны и богатыри, а в монахи постричься всегда успеешь. Время не уйдет, и ты отдашь земле земное, а Богу – Божье. Христос простил у кладезя грешницу и открыл ей Царствие Небесное... Вот мой сказ тебе, а там твори, что сердце и собственный разум скажут, – ведь он твой царь в твоей голове.

После того Нефед Козьмич дал ему на дорогу всякие запасы и предложил ему любого коня из своей конюшни. Последнее было для Никиты Минича истинным благодеянием, он оседлал лошадь, набрал на несколько дней овса с собой, простился с покровителем и уехал к отцу своему, в село Курмыши.

Село это с уходом Никиты Минича как будто еще более обеднело, как будто оно лишилось души своей.

На самом деле это было так: Никита Минич своей нервной натурой, своею энергиею, своею неутомимостью был образцом для всех; притом он безразлично помогал всем соседям, кому в поле, кому около дома – то забор поставит, то кровлю залатает, то подпоры поставит, где уж очень ветхо. И работа спорилась у всех, и весело было так, в особенности парням да девицам.

И в доме священника за его уходом было точно после покойника; батюшка ни с кем слова не молвил, да в церкви с причетником точно после тяжелой болезни едва слышным голосом читает.

Дочь батюшки, Паша, бледная и худая, точно тень ходит, и все из рук у нее валится, так что в доме по хозяйству запустение. Подумал-подумал отец Василий да съездил в Княгинин и привез оттуда вдову – тетку свою, чтобы хоть хозяйство приглядела, да и стряпней занялась.

По приезде бабушка допытывала Пашу, уж не зазнобушка ли у нее на сердце, что красавица измаялась. Но Паша молчит, только иной раз расплачется и уйдет под образа, пригорюнится и думу думает.

Вот сидят они однажды вдвоем, и бабушка болтает без умолку о разных разностях, чтобы рассеять Пашу; и чего-чего нет у нее: и о Самозванце, и о колдунах, и о ведьмах, и об оборотнях, и невольно увлекается Паша этими сказками и начинает вслушиваться в болтовню бабушки.

– И Гришка, – бормочет старушка, – поженился на проклятой на литвинке, на еретнице, безбожнице; сыграна была свадьба в Николин день в пятницу; когда Гришка пошел в баню с женой – бояре пошли к заутрени. После бани Гришка вышел на красное крыльцо и закричал: «Гой еси ключники мои, приспешники! Приспевайте кушанье разное, и постное и скоромное; завтра будет ко мне гость дорогой, Юрья пан с пань-ею!» А в те поры стрельцы догадались, за то-то слово спохватились. Стрельцы бросились к царице-матери, та отреклась от Лже-димитрия, и рать христианская взбунтовалась. Маринка-безбожница сорокою обернулася, из палат вон она вылетела, а Гришка-засстрига в те поры догадлив был, с чердаков да на копыа острые к тем стрельцам – удалым молодцам, и тут ему такова смерть и случилась...

Но, видя, что это не берет и кручину девичью не разгоняет, старушка продолжала шамкать:

– И пса слушают, и кошки мявкуют, аль гусь гогочет, аль утица крякнет, и петел поет, и курица поет – худо будет; конь ржет, вол ревет, и мышь нарты грызет, и хорь нарты портит, и тараканов много – богату быти и сверьщиков такожде; кости болят и подколенки скорбят – путь будет; и длани свербят – пенязи имать; очи свербят – плаката будешь...

– У меня день-деньской, бабушка, очи свербят. Ах! не дождусь, – невольню проговорила Паша.

– Дождешься, дождешься, кот Васька моется, да, слышишь, и конь ржет... Чуют гостей...

В это время петух пропел; старушка набожно перекрестилась и стала шептать:

– Когда же двинут ангелы Господни одежду и венец от престола Господня, тогда пробуждается петел, поднимает глас свой и плещет крылами своими...

– Бабушка, бабушка, поворожи... погадай... уж больно соскучилась...

Старуха ушла в сени, принесли оттуда ведро с водой, прошептала над ним какую-то молитву и, осветив воду лучиной, сказала:

– Гляди, Паша, теперь в воду: что увидишь, то и сбудется.

– Вижу его на коне, он скачет! – воскликнула Паша.

– Видишь, суженого и конем не объедешь, – торжествовала старушка.

В это время послышался топот копыт, у Паши замерло сердце, она бросилась из избы на двор: это приехал из Нижнего Никита Минич.

Увидя на нем одежду послушника, Паша остановилась и побледнела.

Привязав лошадь к крыльцу, Никита Минич подошел к ней, обнял ее и поцеловал несколько раз.

– Видишь, ни к отцу, ни к матери, а к тебе заехал я... Отец Василий дома?

– Сейчас будет, он на крестинах. Зайди, Ника... что я!.. Никита Минич...

– Называй меня Никой, так называла меня и покойная мать... Но как ты похудела?..

– Тосковала по тебе, противный, а ты, чай, нагледелся на красавиц и в церкви и на ярманке?

– Молился Богу, – серьезно возразил Никита Минич, – да о тебе, грешный, думал... Думал, думал и вот приехал... Где батюшка, пуцай решает судьбу нашу...

В это время показался и батюшка, ему кто-то сообщил о приезде гостя.

Отец Василий, увидя Никиту Минича, бросился к нему на шею и не знал на радостях, что говорить.

Он ввел его в избу, посадил в углу под образа, любовался им и только приговаривал:

– Ну, спасибо... не ожидал... потешил старика... Паша... тетушка... что в печи, на стол мечи... чай, голоден... на коне приехал... где взял...

Между тем Паша и бабушка засуетились, накрыли на стол и действительно подали все, что у них имелось.

Когда старик немного успокоился, Никита Минич стал рассказывать ему о том, какие порядки он ввел в Макарьевском монастыре и как митрополит Ефрем разыскал его; в конце же своего рассказа он присовокупил:

– Теперь, батюшка, от тебя зависит: аль принять мне лик ангельский, аль быть иереем...

– Как от меня? – спросил отец Василий удивленно.

– Так, коли отдашь мне Пашу, тогда я иерей; коли нет – я чернец.

– А я тут при чем? – бормотал несвязно старик. – Погляди на голубицу, измаялась... Ты уж с нею поговори... а мне что?.. Ведь тебе жить с нею, а я на старости полюбуюсь вами... будьте счастливы, дети...

Старик заплакал. Паша не выдержала и бросилась к нему на шею; Никита Минич стал на колени, а догадливая бабушка сняла со стены благословенный образ матери Паши и подала его батюшке. Паша стала тоже на колени.

Отец Василий благословил детей, поцеловался с ними и велел им тоже поцеловаться.

Радостная семья после уселась за стол, и за чаркой пенного пошли расспросы и рассказы.

Никита Минич объявил, что митрополит долго не может оставаться в Нижнем и что желает рукоположить его у Макаря во дьяконы, а на другой день, после обедни, в старой церкви рукоположить в иереи. Нужно поэтому торопиться и назавтра обвенчаться, а на послезавтра ехать в Нижний одному; потом он приедет за женой.

Как ни была грустна такая торопливость, однако ж семейство отца Василия согласилось на это, и долго за полночь они толковали о том, как что устроить.

На другой день рано утром Никита Минич взял с собою Пашу, и они отправились к отцу своему, чтобы попросить благословения.

Отец обрадовался его приезду и, когда узнал о милости к нему митрополита, пришел в восторг и тут же благословил его и Пашу. Сестренка Никиты Минича была тоже довольна его счастьем; одна только мачеха надулась, и когда они ушли, свирепо сказала, как-то злобно искривив рот: «Ведь дуракам всегда счастье».

Минич озлился в первый раз в жизни и возразил:

– Уж неча сказать – ты умница; погляди-ка на свое-то рыло, коли б умнее была, то не была бы Минишна... голь одна непрокатная... А он, гляди, – точно боярский сын: и зипунишка и порты суконные; да на лошади охотничьей, да на седле стремянном, да уздечка наборная... И помянешь ты мое слово, будет он не иереем, а архиереем, и подойдешь ты тогда сама к нему к ручке... значит, под благословение... вот-те тогда ты будешь дура.

– Уж и дура, – захныкала и заголосила баба, – из-за щенка.

– Ну, уж завела. – И с этими словами Минич махнул рукой и вышел из избы.

VI Царская невеста

Никита Минич после рукоположения его в иереи назначен был священником в Нижний Новгород, в небольшой приход², но слава о нем распространилась быстро между жителями города и между гостями, так что в воскресенье и в праздничные дни церковь наполнялась многочисленными богомольными, в особенности послушать его нововведения, то есть единогласие в пении, согласие в службе и, наконец, проповедь его, которая была тоже новшеством.

С завистью глядели на него его собратья, остальные священники, и в особенности на последнее.

– Это латынство, – говорили одни.

– Это еретичество, – стали распространять другие.

Народ же приходил в умиление и от согласной службы, и от стройного пения на клиросе, и от превосходной его проповеди.

Говорил Никита Минич кратко, сжато и вразумительно; проповеди его касались земной жизни Христа, апостолов и угодников, и неоднократно он вызывал слезы умиления из глаз слушателей.

После одной из таких проповедей к нему после службы подошла бывшая царская невеста Марья Ивановна Хлопова. Она просила его и жену его Прасковью Васильевну хлеба-соли откушать.

Отец Никита поблагодарил ее и вдвоем с женою проводил ее домой.

За трапезой разговорились они о том о сем, и Хлопова рассказала свою странную судьбу.

– Взята я была годков девять тому назад, – говорила она, – в царский терем как невеста царя Михаила Федоровича и назвали меня Марьей-Настасьей и стали чествовать царицей и ожидали только возвращения из пленения польского святейшего митрополита Филарета, чтобы обвенчать меня с царем. И жених и царица-матушка любили меня... Но приключилась со мною беда: есть перестала, и так смутно сделалось. Михаил Михайлович Салтыков, племянник царицы, дал мне лекарство, а сам отправился к царю и объявил, что я испорчена, неизлечима... Посадили меня и всех моих родных в кибитки и отвезли в Тобольск; с возвращением из пленения святейшего Филарета меня перевезли с родственниками Желябужскими в Верхотурье, а год спустя – сюда, в Нижний... Живу я здесь и горе мыкаю, а царь доселе еще не женат.

– Царица небесная, да не дали ли тебе, боярышня, зелья? – всплеснула руками жена отца Никиты.

– Был у тебя Нефед, сын Минича, – вставил отец Никита, – ты бы ему порассказала. Он человек ближний и у царя, и у святейшего патриарха Филарета. Святейший человек, правдивый, он бы и сыск учинил.

– Салтыковы – люди знатные, сильные, им и вера... Говорят люди: с богатым не тягайся, с сильным не борись, – вздохнула Хлопова. – Рады мы, что из Сибири нас возвратили. Да и как доказать поклев Салтыкова, и коли не докажу, выдадут меня ему головой, тогда и кнут, и снова Сибирь.

– Не страшись, боярышня! Коли будет кнут, то не тебе, а мне, – возразил горячо отец Никита. – Будешь ты в стороне, скажу, дескать, на духу баяла мне Марья Ивановна правду... А я расскажу патриарху.

² По показаниям раскольничьим, он будто бы был избран в священники какого-то села; но это измышленно, чтобы ума-лить его значение.

– Как знаешь, отец Никита, ты умнее нас... Но гляди, тебе бы не пострадать. Молод ты, да и жена у тебя распрекрасная, – и при этих словах Хлопова поцеловала Прасковью Васильевну.

Последняя прослезилась и обратилась к мужу:

– Горяч и молод ты, Никита Минич, а там, на Москве, народ лукавый.

– Небось, молод я годами, а не духом. Поеду я к Нефеду Козьмичу Сухорукому, он меня наставит, и с Божьей помощью, если мы не низложим врагов, то дела не испортим и Марью Ивановну не погубим.

– В таком разе поезжай, отец Никита... Я тебе на дорогу дам.

– На дорогу и у меня станет; сколотили мы с женой кое-какую копейку бережливостью, а там, коли Бог и царь тебя, Марья Ивановна, взыщут, и нас не забудешь.

После этой беседы жена отца Никиты стала посещать ежедневно бывшую царскую невесту, а муж ее испросил у местного благочинного разрешение съездить на месяц в Москву и готовился к дороге.

Купили пару лошадей, телегу, наняли черемиса в кучера, уложили вещи отца Никиты, и после молебна у Марьи Ивановны, с благословениями жены, отец Никита уехал в Москву.

Тащился отец Никита по ухабистым дорогам медленно, без приключений, а недостатка в еде не было, – наложили ему и жена и царская невеста всего вдоволь, не только на путь в Москву, но и на край света.

Скучно ехать так долго отцу Никите, и заводит он с черемисом зачастую разговоры и шутит с ним.

– В первый раз, – спрашивает он своего возницу, – ты едешь в Москву?

– В первый, батюшка, в первый, а во второй еще не был.

– Понимаю, что во второй еще не был; да вот что, любезный, коли ты впервой въезжаешь в Москву, у ворот стоит старая-престарая баба, по прозвищу баба-яга, костяная нога, ни одного зуба; нужно ее поцеловать да в жены взять...

– Ай! ай! ай! – завопил черемис и ударил по лошадям.

– А кони-то чем провинились? – продолжал Никита.

– А ты, батюшка, впервой в Москве?

– Впервой.

– И ты, значит, поцелуешь бабу и женишься на ней.

– Я женат, а ты вот не женатый...

– Ай! ай! ай! – снова закричал черемис. – А моя Катька что скажет? Сказывала, заработаешь от батюшки, вернешься из Москвы и свадьба...

– Ничего, – успокаивал его Никита. – Царь на свой счет справит свадьбу твою в Москве. Разговор этим кончился, и Никита забыл о нем.

Но вот и Москва белокаменная с златоглавыми храмами. Затрепетало сердце отца Никиты и замер дух. «Вот тут поистине место, где русским царям жить», – подумал он.

Но возница его останавливает вдруг лошадей и сходит поспешно с козел.

– Батюшка, рассчитай, – говорит он.

Отец Никита не понимает, в чем дело.

– Как рассчитай? – спрашивает он удивленно.

– Я домой, назад, к Катьке...

– Да как к Катьке?

– Да так, не хочу старой бабы.

Никон расхохотался.

– Чудак, – сказал он, – да я шутил...

– Нет, это правда. Спрашивал я по дороге во всех заездах и трактирах, и все говорят: правда...

– Да над тобою смеялись.

– Тебе-то смешки, а мне слезки...

– Полно дурить, садись и поезжай.

– Не хочу...

– Убедишься ли ты, коли я тебя наряжу в рясу, а сам сяду на козлы в твоём армяке, так и въедем в ворота Москвы.

– Ладно, садись.

Отец Никита уступил ему свое место и сделался возницей.

Когда они подъехали к заставе, черемис стал робко озираться и высматривать старую бабу; на беду у караулки стояла какая-то старая женщина.

Как выскочит из телеги черемис и как побежит назад; пришлось отцу Никите повернуть в обратную и догнать труса.

– Гляди, – успокаивал он его, – вот баба и уходит.

– И взаправду уходит, – успокоился черемис.

Сел он вновь в телегу, и они благополучно проехали заставу, и тогда лишь возница поверил и пересел вновь на козлы.

Едут они по великой Москве более часу, и все нет конца, а им-то нужно в Китай-город, и это, бают, сердце Москвы. Наконец и Китай-город показался, и указывают им дом Нефед Козьмича Минича.

Палаты большие со службами и с садом; подъезжает отец Никита к терему, останавливается на улице, сходит с телеги и идет во двор.

Встречается служка и, узнав, что батюшка из Нижнего, бежит к дворецкому, а тот докладывает окольному.

Выходит поспешно Нефед Козьмич на крыльцо, встречает дорогого гостя, обнимает и целует его, вводит в свои хоромы, а лошадей и телегу велит убрать в сарай и конюшни, а кучера в людскую.

Не знает Нефед, куда посадить отца Никиту, и расспросам нет конца: и о Нижнем, и о Марье Ивановне Хлоповой.

Сразу не говорит отец Никита, зачем приехал-де в Москву, а объясняет свой приезд тем, что хотелось-де поглядеть матушку Москву, людей посмотреть, уму-разуму набраться.

– Умно ты сделал, отец Никита, что приехал сюда в мире пожить, с людьми побывать едино, чтоб многое знать. Покажу тебе все храмы и монастыри Божьи, пушечный дом, печатное и иное дело да ряды немцев гостей.

Обрадовался отец Никита несказанно и благодарил Нефед Козьмича за ласку и милость.

За гостинцы же, привезенные отцом Никитой, хозяин был ему обратно благодарен. Гостинцы же были: от Марьи Ивановны – водка малиновка в бочонках, а от жены отца Никиты свиные колбасы, изготовленные по-малороссийски, так как отец ее был хохол.

– Ну, – говорил хозяин, – подарок дорогой, завтра же покличу гостей, попотчую этим добром, да и тобой похваюсь, какого друга нажил... Врагов, – продолжал он добродушно, – скоро наживешь, а друзей... ой! ой! как трудно.

И с этими словами он обнял и расцеловал Никиту.

Отвели гостю хорошенькую светелку, с кроватью, чистым бельем, да снесли сюда и сундук его с бельем и платьем, а его черемис возгордел и баранью шапку свою начал носить набекрень, для придачи себе важности, а о бабе-яге забыл.

На другой день наехало много гостей к Нефеду – или бояре, или окольные.

Напросил этих гостей Нефед на малороссийские колбасы, и ради них жарились к трапезе чуть ли не целые быки, целые боровы и сотни разной птицы, да целый десяток похлебок и ухи.

Отец Никита был им представлен как нижегородец и друг хозяина, причем Нефед рассказал о новшествах, какие введены им в Макарьевской обители и теперь в приходской церкви.

Родственники царя: Шереметьев, князь Черкасский и Иван Никитич Романов, присутствовавшие здесь, просили отца Никиту к себе.

– Видишь, – говорил гостю на другой день Нефед Козьмич, – вот и познакомился с людьми именитыми, уже мы с тобою у них побываем.

– Благодарствую, и они понадобятся по делу Марьи Ивановны, – сказал вскользь отец Никита.

– По какому ее делу? Ты не говорил мне.

– Не смел... Видишь, Нефед Козьмич, баяли, она порченная, а это неправда.

– Все так баяют, да и они, в Нижнем-то, говорили тоже.

– А мне, вишь, на духу она другое молвила: я-де не порченная... боюсь Салтыковых... так и не перечу...

– То-то и я у Хлоповой прожил больше трех месяцев, да порчи в ней не заметил; румяная, белая, точно кровь с молоком, и умница такая... Но баяли люди – порченная... А наше дело сторона... Да за что же боярин-то кравчий, Михаил-то Михайлович Салтыков, на них взелся?

– Баяют так: ходил царь с приближенными в Оружейной палате, здесь был и Салтыков, и дядя невесты, Гаврила Хлопов. Поднесли царю турецкую саблю, и все ее хвалили. Салтыкова взяла злоба, и он сказал: «Вот невидаль! И на Москве государевы мастера такую сделают!» Тогда государь обратился к Гавриле Хлопову и спросил: «Как думаешь, сделают ли такую саблю в Москве?» – «Сделать-то сделают, да только не такую», – отвечал Хлопов. Вот и взелись на них оба Салтыкова – Борис и Михаил, да и дали ей, невесте-то, какой-то водки из аптеки, значит, чтобы лучше ела, а та и заболела... Салтыковы и наговорили, что она порченная.

– Вот как дело было, – произнес задумчиво Нефед, – и это она говорила тебе на духу?

– Говорила, но так как здесь царское дело, я и открыл тебе правду, да и патриарху тоже скажу.

– Побываю у патриарха и скажу, что ты духовник Марьи Ивановны и что она сказала такое слово, что можешь ты передать ему лишь одному. Однако прежде, нежели у него побываю, я повезу тебя к Шереметьеву, Черкасскому и Романову, пушай они прежде скажут патриарху ласковое об тебе слово. Тогда и дело будет сделано – патриарх человек прямой, честный и правдивый: каждому он воздает за заслуги. У него все одинаковы, и бояре-то ближние не очень-то и жалуют его, а многие не желали его возврата в Москву. При митрополите Иове ближние бояре делали что хотели, а инокиня-мать из Вознесенского монастыря с Грамотиным дьяком управляла царством. А святейший патриарх Филарет, как приехал, взял все в руки – управлять-де из кельи да женщине не подобает. Да и царь-то иной раз получает родительский выговор. Увидишь сам старца, полюбишь, как и я люблю... Завтра утром я тебя повезу по Москве.

На другой день ранним утром представил Нефед Козьмич отца Никиту к царским родственникам, и те пришли в восторг от ума молодого священника и обещались о нем поговорить с патриархом. Несколько дней спустя они встретились с Нефедом Козьмичом в Боярской думе и объявили ему, что патриарх желает, чтобы ему представили двадцатилетнего мудреца.

На другой же день после того Нефед повез отца Никиту к царскому отцу Филарету Никитичу, жившему в Новоспасском монастыре.

Оставив отца Никиту в сенях, Нефед вошел вовнутрь хором и вскоре вышел оттуда с патриаршим окольным Стрешневым.

– Патриарх требует тебя к себе, тебя проводит к нему окольный, а я тебя подожду здесь. Да благословит и поможет тебе Царица Небесная в твоём добром начинании.

Отец Никита мужественно пошел вперед, но когда он был уж у дверей, завешанных ковром, где находился патриарх, ему сделалось страшно и сердце замерло, – о Филарете говорили так много злого.

Стрешнев откинул полог и впустил отца Никиту в рабочую патриарха.

Войдя туда, поп распростерся на полу и, подымаясь, сделал то же самое трижды.

Когда он поднялся, то увидел себя в небольшой комнате, устланной коврами; у окна стоял небольшой стол, заваленный книгами и бумагами; пред ним как будто вырос из земли среднего роста красивый старик, с сильною проседью в бороде. На нем был простой серый подрясник, припоясанный золотым кушаком, а темно-русовая голова его, с сильною проседью, не была ничем покрыта.

Отец Никита подошел под его благословение.

– Благословен приход твой, – сказал патриарх, крестя его двуперстно. Полюбовавшись затем с минуту на двадцатилетнего красавца и атлета³, патриарх милостиво продолжал: – Коль не сказали бы мне бояре и Нефед Козьмич, что ты разума полный и устроитель церковного благолепия, я бы предложил тебе, сын моя, расстричься и идти в передовой царский полк. Но, говорят, ты полон премудрости... Откуда ты взял это? Нефед говорит, что ты и по-гречески знаешь.

И при этом патриарх заговорил по-гречески:

– Я изучил греческий и латинский языки в неволе... Папа готовил вместе с моим освобождением и унию, но он ошибся: от веры своей мы, русские, не отречемся. Правда, знание – свет, а невежество – тьма, я поэтому и печатное дело вновь завел, и в Чудовом монастыре учат по-латыни и по-гречески.

– Изучил я греческий язык, – сказал отец Никита по-гречески, – у тестя своего, в селении Вельманове... Потом в Макарьевской обители.

– Вельманово – это поместье бывшего воеводы царя Ивана Грозного. Ты из крестьян?

– Из крестьян, отец мой, Минич.

–носишь ты отчество знаменитое, Козьма Минич Сухорукий, отец Нефед, носил это имя. Сын мой, носи его высоко – и Бог тебя вознесет. И апостолы были простые рыбаки. Наше святительское призвание тоже апостольское, и многие из крестьянства были великие святители, у нас, правда, не столько, как в Малой Руси. Учись всегда и постоянно, – видишь, какой я старец, а все еще учусь. Теперь скажи, в чем твое дело?

Отец Никита передал, как на духу ему созналась царская невеста, что она испорчена Салтыковыми и за что именно. Патриарх пришел в сильное негодование.

– А если это будет не доказано? – воскликнул он сурово. – Знаешь ли, думские бояре и окольные сидят и гниют у меня в тюрьме за ябеды и недоказанные изветы. Я хочу вывести кляузу...

– Велишь меня, святейший патриарх и великий государь, тогда казнить, – отвечал бесстрашно отец Никита.

С минуту патриарх глядел прямо и пристально в глаза молодого священника и еще суровее произнес:

– Да, знаешь ли ты, извет твой на племянников царицы? Возьми лучше назад свое слово.

– Я духовный пастырь, – с жаром возразил отец Никита, – а пастырь должен положить душу свою за овцы. Готов пострадать на кресте правды ради, хоша бы пришлось осудить и саму царицу. Целовал я крест царю и повинен говорить правду без лицемерия.

– Прав ты, сын мой, ступай с миром, а я учиню сыск и кару, хоша бы не токмо племянники инокини царицы, но и родная моя дочь, Татьяна Михайловна, повинилась в сем деле.

Отец Никита вновь распростерся трижды перед патриархом и поцеловал его руку.

– А ты, – продолжал патриарх, – пока пойдет сыск и суд, заезжай в Чудов монастырь, там увидишь, как учат по-гречески и по-латыни; да в печатню мою загляни.

Было это сказано очень милостиво и сердечно.

Отец Никита вновь поклонился и вышел.

³ Он был почти трехаршинного роста.

Услышав подробности этой беседы, Нефед Козьмич воскликнул, садясь с отцом Никитой в свою колымагу:

– Умные люди друг друга скоро понимают. Патриарх – великий святитель, а ты хошь из крестьян, но коли захочешь, то не будешь менее святейшего. Исполать тебе и слава, сын крестьянский, Никита Минич; недаром носишь ты отчество великого моего отца, – сказал патриарх, – да это и мой сказ. Сегодня была встреча двух великих святителей, и мы отслужим сегодня же молебен после обедни, а там зададим пир.

Нефед велел кучеру остановиться у Успенского собора и приказал отслужить молебен за рабов Божьих Филарета и Никиту.

Царь Михаил Федорович продолжал в это время жить в Грановитой палате, и очень просто: все было бедно и скромно. В то время больше думали о войне, о борьбе с внутренней крамолой, чем о роскоши и пышности.

Самая палата не столько была занята царскими покоями и комнатами, как битком набита была придворными, приживалками и приживалами, скоморохами, бахарями, дураками, домрачями, цимбалистами, карлами и иным потешным людом. Пока же Филарета Никитича, отца царского, не было, все это сплетничало, интриговало и своевольничало и более было хозяином во дворце, чем сам юный царь Михаил. Загнанный с детства и воспитанный среди женщин и в женском монастыре, напуганный тогдашними событиями, страданиями всех своих родных и отца, наконец, слыша с детства о страшной смерти Дмитрия-царевича, всех родственников и ближних бояр царя Ивана, слыша о трагической смерти Лжедмитрия и падении Василия Шуйского и о других ужасах того времени, царь Михаил сделался робок, неразговорчив и уступчив при настойчивости кого-либо.

До возвращения Филарета из Польши им владела поэтому мать-инокиня, а когда возвратился отец, то Михаил был рад, что тот захватил все в руки, так как его самого перестали тревожить и нарушать его покой.

Весь день Михаил поэтому проводил или в церкви, или ездил на поклон к матери в Вознесенский монастырь, или же к отцу в патриаршие палаты, а у себя дома он принимал бояр и окольных и слушал городские новости и сплетни, иногда выезжал на соколиную охоту и в окрестные монастыри.

Но больше всего он любил потешное общество, и одновременно у него перебивали: бахари – Клим Орефин, Петрушка Тарасьев, Сапогов и Богдашка; стомрачеи – Богдан Путята, Гаврилка Слепой, Янка, Лукашка, Наум и Петр; гусельники – Уезда, Богдашка Окатьев, Власьев и Немов; скрипачники – Иванов, Онашка, немчин Арманка.

Постельничий царский управлял этим людом, и часть царицыной Золотой палаты занята была для потех.

Хоромы же царя были скорее похожи на дворец зажиточного боярина, чем на царские палаты; только выезды его, с боярами, окольными, конюхами и скороходами, напоминали Москве, что в Грановитой палате живет царь.

Выехал Михаил Федорович после обедни в тот день, когда отец Никита представлялся патриарху, сначала к инокине-матери, а потом к отцу.

Патриарх принял сына в той же комнате, в который мы видели отца Никиту.

Он обнял его и поцеловался с ним, а тот потом поцеловал у отца руку.

Патриарх сам сел у стола, а сын поместился на стуле против него.

– Недобрые вести, – начал патриарх, – от швейцарского короля Густава-Адольфа; отказывается он сватать за тебя сестру своего шурина курфюрста Бранденбургского, Екатерину... Пишет он, что ее княжеская милость для царства не отступит от своей христианской веры, не откажется от своего душевного спасения.

– И бог с нею, – отвечал царь Михаил.

– Это все, – продолжал патриарх, – мутят поляки. Дать нам сродниться со шведами не хотят они, боятся, что будут они нам союзниками, да, породнившись с царскими домами немцев, мы поспорим тогда и о польской короне.

– Но ведь насильно ничего не сделаешь, – вздохнул царь Михаил Федорович, – а жениться пора, все бояре да и все родственники так говорят... Годы мои уже такие.

– Была у тебя, сын мой, невеста, и богобоязненная, и добрая, и почтительная, Марья Ивановна Хлопова.

– Да, была она мила моему сердцу: жила во дворце под одною кровлею со мною; дружила с сестрицею моею царевною Татьяною Михайловною, да вот лихая болезнь приключилась, навек испорчена...

– И царица мать-инокиня любила и жаловала ее, царицей нарекла, Анастасьей именовала, в память бабки твоей Анастасии Романовны, жены царя Ивана Грозного, – продолжал патриарх.

– Такова воля Божья, – смиренно произнес царь Михаил.

– А коли б Марья Ивановна была не испорчена, женился бы ты и теперь на ней, мой сын?

– Уж очинно мила она была моему сердцу, – произнес, опустив глаза, царь Михаил.

– Что же скажешь ты, коль окажется, что она николи испорчена не была, да и теперь жива?

– На то будет соизволение и твое и матушки-инокини, я всякое родительское благословение приму с благодарностью.

– Ладно, сын мой, сегодня же соберу синклит родственный, бояр: Ивана Никитича Романова, Ивана Борисыча Черкасского, Федора Ивановича Шереметьева, и коль ты соизволишь захватить ко мне, то мы совершим сыск с божьей помощью. Только никому не говори, а наипаче матери, пока дела не соорудим.

– Беспременно приеду уж, опосля вечерни, – обрадовался царь, простился с отцом и вышел. После царского ухода патриарх послал тотчас за родственниками и велел быть к себе кравчему Михаилу Салтыкову и придворным врачам: доктору Валентину Бильсу и лекарю Бальцеру.

Все эти лица съехались вечером к патриарху и оставались в сенях, пока не появился царь; когда же тот вышел из колымаги, родственники его пошли за ним в патриаршую переднюю к заседанию: стол со скамьями, а для царя и патриарха кресла; горели люстры с восковыми свечами. Патриарх принял царя посередине передней и, поцеловавшись с ним, повел его к креслу; бояре разместились за столом. Потребовал патриарх, чтобы окольный Стрешнев ввел Салтыкова.

Вошел Салтыков, поклонился образам, потом в ноги царю, патриарху и синклиту и, поднявшись, остановился против царя.

Начал патриарх:

– Расскажи-ка, боярин Михайло, как невеста царя заболела болестию неизлечимую.

Салтыков стал рассказывать, как это прежде он делал, что невеста царская страдает болестию природенною, колики в животе схватывают, а там с нею обмороки, точно болестия черная.

– Как же, – спросил патриарх, – ты узнал это?

Салтыков рассказал, что со времени переезда Марьи Ивановны во дворец часто с нею случались эти боли, а потом она попросила лекарства, и он взял его от доктора Бильса и лекаря Бальцера.

Патриарх велел позвать врачей. Оба вошли. Доктор был высокий, сухопар, с желтым лицом, а второй – толстенький, с жирными щеками и маленькими глазками.

Войдя, оба иностранца поклонились низко, дотрагиваясь руками до земли.

Патриарх обратился к доктору:

– Расскажи-ка нам, что за болестия была у бывшей царской невесты Марьи Ивановны?

– Болеть?.. – Он вынул носовой платок, вытер нос и пот и произнес протяжно: – Dispersia.

– Dispersia, – вторил ему помощник его, причем облизал губы, как будто он что-то проглотил очень вкусное.

– Dispersia, – сказал патриарх, – это по-латыни значит расстройство желудка.

– Да, да, святейший патриарх, расстройство на желудка и на кишка. Бывает иногда и disenteria, а иногда и febris gastrica, но я дал... о что, герр Бальцер, мы дали тогда?

– Ревень.

– Да, да, ревень... на водка настой... Хорошо... очень хорошо... и на кишка... и на желудок...

– Один порций довольно, – поддержал его товарищ, – маленька стаканчик...у...у... очистит...

– А вы же много отпустили из аптеки? – продолжал допрашивать патриарх.

– Одна стеклянка большой, чего жалеть; на дворец мы не жалея, – произнес с достоинством толстый лекарь.

– А ты по сколько давал Марье Ивановне? – обратился к Салтыкову патриарх.

– Не помню, давно уже то было.

– Говори, – грозно произнес патриарх, – иначе допрос будет с испытанием и со стряской.

– Три раза в день: натошак, пред обедом и вечером.

– И сколько времени? – изумился патриарх.

– Более месяца.

– Для какой же надобности взял у вас целую стеклянку большую, коли довольно маленькой чарки? – обратился патриарх к врачам.

– Боярин скажут, много на дворец больной на живот, – отвечал доктор.

– И на кишки, – дополнил толстяк.

– Довольно, все сказали, теперь идите, господа лекаря, с миром, а Салтыкова в темницу до окончания суда над ним, – обратился он к стоявшему у дверей залы Стрешневу.

– Помилуйте! – завопил Салтыков, бросаясь на колени.

Царь Михаил Федорович с беспокойством завертелся уж на стуле и хотел было изречь прощение, да патриарх взял его за руку, а сам, поднявшись на ноги, произнес грозно:

– Государской радости и женитьбе учинили вы, Салтыковы, помешку и сделали это изменою, забыв государево крестное целование и государскую великую милость; и государская милость была к вам и к матери вашей не по вашей мере; пожалованы вы были честью и приближеньем больше всей братии своей и вы то поставили ни во что, ходили не за государевым здоровьем, только и делали, что себя богатели, дома свои и племя свое полнили, земли крали и во всяких делах делали неправду; промышленяли тем, чтобы вам при государской милости, кроме себя, никого не видеть, а доброхотства и службы к государю не показали. Веди его, окольниковый, прочь от царских очей, и в темнице пущай ждет свою кару.

Стрешнев вывел Салтыкова, и тогда семейный совет решил: отправить кого-нибудь за отцом и дядей Марьи Ивановны, Иваном и Гаврилою Хлоповыми, проживавшими в какой-то ничтожной своей вотчине.

Неделю спустя привезли их к патриарху, и те передали о своей ссоре из-за турецкой сабли и как с того дня оба Салтыковых, Михаил и Борис, сделались их врагами.

Отец бывшей невесты при этом объяснил болезнь дочери отравой, а брат его Гаврила утверждал, что, не привыкши к сладостям, она объедалась ими во дворце⁴.

⁴ Удивительно в этом случае то, что спустя более 150 лет невеста императора Павла, а потом первая жена его, Наталия, страдала тем же самым.

Патриарх и царь решились тогда отправить боярина Федора Ивановича Шереметьева в Нижний Новгород к бывшей царской невесте, вместе с придворными врачами и чудовским архимандритом Иосифом.

Узнав об этом от Нефеда Козьмича, отец Никита тотчас выехал обратно домой.

VII

Не судьба

Поздняя ночь. В Нижнем Новгороде зима еще не настала, а только сиверка стоит на дворе: снег падает хлопьями и тут же тает. Ветер стучит наружными ставнями терема Хлоповой и завывает в трубах.

В опочивальне Хлоповой горит восковая свеча, а печь топится ярко, и березовые дрова трещат в ней.

Около столика на мягком топчане сидит Хлопова и жена отца Никиты, Прасковья Васильевна. Обе в сильной тревоге: вот уж более месяца, как уехал священник, и о нем ни слуху ни духу.

Жена затосковала по нем и совсем отбилась от дому, сидит сиднем у Хлоповой, и высказывают они друг другу свои чувства.

– Эка ночка, – говорит Прасковья Васильевна. – Чай, проезжему путнику не сладко. А мой-то Ника где теперь?

– Бог даст, приедет живехонек и здоровехонек. Надясь проходила цыганка, гадала она мне; баит, гости будут и радость... но...

– Что же дальше?

– Что ни на есть, какая-то злодейка мешает моей судьбе; а про твоего Никиту Минича сказывала все хороше, – много, говорит, будет у него горя, но и слава будет, и казны всякой, да сколько бы народу ни было, будут всего его слушать. Да вот и ты-то погадай мне аль себе. Я и бобы твои спрятала.

– Не мои, а тетушки покойной моей. Царство ей небесное, и любила и умела гадать.

Марья Ивановна достала из шкафика завернутые в тряпицу бобы и подала их попадье.

Та встряхнула в руке бобы, потом, выкинув их себе на руку, сказала:

– Странно, мой как будто в пути и спешит к нам. Постой, боярышня, как будто кто-то подъехал к твоему терему... погляжу...

И с быстротою молнии она бросилась в переднюю, а оттуда на крыльцо, – она попала в объятия мужа: он заехал домой и, узнав, что жена его у Хлоповой, прямо и поехал туда.

Радость была невообразимая, когда отец Никита рассказал об успехе своем в Москве и о предполагаемом приезде Шереметьева с врачами в Нижний Новгород.

– По дороге, – заключил священник, – уже готовят для посольства лошадей и ямских, и земских, и шереметьевских.

Хозяйка была вне себя от радости и велела тотчас накормить гостя; все, что было в доме, появилось на столе, и отец Никита, редко употреблявший напитки, стал пить здравицы и за хозяйку и за жену, так что он так подвыпил, что целовался и с женой и с Хлоповой.

Оставила Хлопова ночевать гостей у себя во флигеле, и отец Никита не давал всю ночь спать жене, рассказывая ей о разных диковинках, виденных им в Москве и у бояр.

На другой день Никита Минич и жена его принялись за устройство приема московских гостей.

Город же всполошился: пушки заржавевшие вычищены, воеводская канцелярия и избы, губные и земские, вымыты, у дома воеводского и у терема Хлоповой поставлено по одному фонарю.

Хоромы Хлоповой приготовлены для боярина Шереметьева; хозяйка же сама перешла в пристройку, а соседние к ней дома очищены для свиты вельможи.

Наконец после трехдневного трепетного ожидания явился поезд Шереметьева.

Впереди скакали гонцы, рейтары и казаки, за ними колымага Шереметьева, которую тащили восемь лошадей: четыре в дышле и по две с ездовыми; за ним мчалась колымага архимандрита Иосифа; потом следовали колымаги лекарей, свиты боярина и несколько крытых телег с поварами и дворовою челядью.

Все это остановилось у терема Хлоповой.

На крыльце встречен боярин воеводою, а в сенях приняли его Марья Ивановна с приставленною для наблюдения за нею старухою, вдовою стольника Стряпухиною и с родственниками Желябужскими.

Боярин с почтением отдал царской невесте поклон и жалованное слово царя, патриарха и царицы, спросил от их имени об ее здоровье; потом вошел в переднюю, поклонился и перекрестился образом и снова обратился к хозяйке с вопросом о здоровье, причем принял от нее хлеб-соль.

После того боярин сел в почетном месте у икон, и дворецкий его стал вносить подарки царские: соболя, разные материи на платья.

Марья Ивановна ничего не брала в руки, а только восхищалась и за каждую вещь кланялась низко, с пожеланиями царю и его семейству здравия и многие лета.

После этой церемонии хозяйка просила гостя и приближенных к нему хлеба-соли откушать – только хозяйка сама, по обычаю, за обедом не присутствовала, а вместо нее хозяйничал воевода.

Со следующего дня началось духовное и врачебное исследование – не больна ли чем ни на есть Хлопова.

Начал исследование архимандрит Иосиф: он приказал Марье Ивановне целую неделю поститься, слушать заутрени, вечерни, часы и обедни в Спасском соборе, в воскресенье же исповедаться и приобщаться. Сделано было это для того, чтобы убедиться, как она выдержит «Херувимскую» и нет ли в ней нечисти духовной.

Все шло в порядке, а потому в субботу Шереметьев призвал врачей и сказал, что и они должны сделать опыт в воскресенье насчет желудка, который и погубил царскую невесту.

Доктор Бильс вынул носовой платок, высморкал нос и, положив его в карман, произнес с расстановкой и медленно:

– Марья Ивановна постил... сколько дней?..

– Неделю.

– Ух, ух! На посна масла?

– Да.

– Ух! Ух!

– А я, – продолжал боярин, – велю на воскресенье изготовить кулебяку, кислые щи с салом свинины, бараний бок с кашей, гуся жареного с кислую капустою и яблоками, поросенка жареного с кашей, и если Марье Ивановне будет ничего, то и слава богу, значит, русский человек, и желудок ничего.

– Я не позволяй, – завопил доктор, – мой опыт на медицин...

– Проваливай со своею медициной и со своею аптекой, испортили ее аптекой.

– После пост да такой кушанья, помрет фрейлейн...

Бильс при одной мысли о таком ужасном событии вынул платок и вытер слезы.

– Пропал девка, – говорил он, – можно ль, постный желудка... постна масла... а тут каша... гуська... поросенка... барашка... кулебяка... Уф! Уф!

Холодный пот выступил на лице Бильса; товарищ его, Бальцер, однако ж, не возражал, а только сильно облизывался, как будто он все эти блюда перепробовал.

Шереметьев исполнил в точности опыт свой: все, что он сказал, было заказано, и Хлопова в присутствии нескольких сторонних свидетельниц должна была разговеться таким обедом, но

каждая порция, назначенная Марье Ивановне, должна была быть предъявлена прежде всему посольству.

Окончилась обедня, Хлопова приобщилась и приехала домой.

Боярин поздравил ее со всеми его приближенными, и Марью Ивановну повела жена воеводы к трапезе.

Приставленная к ней Стряпухина должна была каждую порцию Хлоповой приносить в столовую, где обедал Шереметьев со свитой.

Каждая порция была двойная, то есть миска с верхом, обратно она возвращалась пустая.

– Мм... – мычал каждый раз доктор Бильс и спрашивал: – А чем фрейлейн запивал?

– Полкружки квасу, – докладывала Стряпухина.

Когда после поросенка с кашей принесли половину жирного гуся с кашей и огромными антоновскими яблоками, доктор протестовал.

– Не позволяй, – воскликнул он горячо, – лопнет на живот...

– Что немцу смерть, то русскому здорово, – расхохотался боярин.

Стряпухина ушла и через четверть часа возвратилась с пустою посудой.

– Герр Бальцер, – крикнул своему толстенькому товарищу доктор, – Эс вирд гешеен ейн гросер унглок, их кан ниht аусгалтен.

– Чем запила? – спросил боярин.

– Кружкою квасу, – отвечала Стряпухина.

– Герр Бальцер, умрет... – закричал доктор.

И Бальцера начал даже прошибать пот, но и их обед окончился, а между тем никто не давал знать, чтобы с Хлоповой случилось несчастье.

На другой день посольство зашло в комнаты Марьи Ивановны, врачи осмотрели ее, ее пульс и язык и нашли, что она здоровехонька.

Осталось посольство после того еще два дня в Нижнем Новгороде, чтобы убедиться в аппетите Хлоповой, и врачи-немцы дали ей аттестат, что она может быть истинной царской невестой, так как после каждого подобного обеда она еще с большим аппетитом забавлялась рожками, яблочками мочеными, сушеными грушами и сливами, винными ягодами, изюмом, орехами и пряниками различнейших сортов и величин, и все это запивалось квасом: хлебным, клюквенным, яблочным, и заедалось вареньем: малиновым, вишневым, смородиновым и крыжовником; пастилы же разных сортов шли не в зачет.

Все это было так убедительно для немцев-врачей, что они, возвращаясь с Шереметьевым, твердили.

– Ах! Мейн Гот!

Тотчас по возвращении в Москву боярин Шереметьев отправился с докладной к патриарху.

Выслушав подробно, какие опыты были сделаны насчет Марьи Ивановны, Филарет Никитич назначил на другой же день Боярскую думу.

В заседание были потребованы оба Салтыковых, отец и дядя Хлоповой и все посольство боярина Шереметьева. Выслушав дело, Боярская дума присудила Салтыковых к ссылке и к конфискации всей их недвижимости в казну.

По окончании суда патриарх отправился с окольниковым Стрешневым к царю.

Он застал того играющим в передней в шашки с одним из придворных.

Придворный тотчас удалился, а патриарх объяснил сыну, какое решение состоялось в думе, и при этом предъявил ему протокол, или, как он тогда назывался, запись.

– Да как же без царицы-матушки? – вспыхнул царь. – Салтыковы ее племянники, мои двоюродные, и я к ним привык. Михайло кравчий мой, а без него-то ни меду не будет, ни вин заморских, ни романи.

– Сто кравчих найду тебе, – утешал его отец, – а вора́м, изменникам поблажки нельзя дать, хотя бы были не токмо двоюродные, а родные братья.

– А инокиня-мать! – стоял на своем Михаил.

– Пушай она повесит себе на шею всех Салтыковых и их воровские дела, – разгорячился патриарх, – узнает она о них тогда, когда они будут далеко от Москвы, – пушай тогда за ними едет, коли ей будет их жаль. Подпиши, говорю тебе; коли воров и крамолу не собьем, не усидишь ты на престоле и будет смута такая, как при Шуйском. Самозванцы что день – нарождаются, а польский король что день – воду мутит; он и теперь всякие книги выпустил и на тебя и на меня. Оставишь Салтыковых, они первые тебе изменят. И теперь уж они своевольничали и знать тебя не хотели. Выбирай аль Салтыковых аль меня.

Михаил с трепетом слушал отца и, взяв перо со стола, утвердил приговор бояр, не читая записи. Совершив это, он тяжело вздохнул, утер пот, катившийся с его лица, и в изнеможении сел на стул. Патриарх поцеловал его, простился с ним и вышел.

В сенях, передавая окольниковому Стрешневу приговор думы, он произнес тихо:

– Передай тотчас думному дьяку: Салтыковых чтобы не было в Москве через час.

Царица-инокиня не знала вовсе о происходившем, а осведомилась об этом тогда лишь, когда Салтыковых сослали и когда вся родня ее поднялась на ноги.

Царица тотчас послала за царем и за патриархом.

Зная, что будет буря, он несколько дней пред тем под разными предлогами не пускал царя Михаила к матери, а когда та прислала за ними, то он царю Михаилу велел лечь в кровать и прикинуться больным, пока гроза не пройдет, а он-де сам уж все уладит ко всеобщему благополучию.

Царица инокиня-мать занимала под свои службы и под свою свиту половину Вознесенского монастыря; но собственно ее жилье состояло из двух комнат: одна из них, обставленная мягкой мебелью, коврами и со стенами множеством старинных образов в драгоценных ризах, была ее приемная; вторая – ее спальня.

Ходит по этой передней инокиня-мать, и взоры ее бросают молнии, а губы судорожно сжимаются – она ждет свидания с мужем-патриархом и с сыном-царем.

Инокиня невысока ростом, средней полноты, хорошо сохранившаяся женщина; бела она лицом, темные брови в струнку, как у молодой особы, глаза немного впавши, но прекрасны, хотя выражение их недоброе, и вообще лицо гордое, мужественное и повелительное.

Одежда на ней инокини, но воротник на шее из драгоценных кружев и на груди ее алмазный большой крест, в руках же янтарные четки.

Входит в ее комнату, робко озираясь, девица за двадцать лет, удивительно похожая на нее; на ней сарафан, белая голландская рубаха, дорогие кружева, на голове драгоценный венец, и на шее жемчуг высокой цены с алмазным крестом.

– Таня! Слава богу, хотя тебя отпустили ко мне. Теперь сына не дозовешься! – восклицает мать, обнимая и целуя дочь.

– Царь заболел и меня послал к тебе, царица-матушка, – произнесла та робко, целуя у матери руку.

– Заболел! – рассердилась царица. – Коли чувствует вину пред матерью, тотчас и болен.

– Нет, взаправду болен; заходила я к нему, у него лекаря, а он, сердечный, лежит в постели, желтый, а зуб на зуб не попадает, дрожит, точно осиновый лист.

– О Салтыковых он ничего тебе не баил?

– Ничего.

– А патриарх заезжал к нему?

– Нет.

Инокиня опустила на стул.

– Они уморят меня, – произнесла она, задыхаясь, – отцу ничего, коли сын болен... Танюшка, да ведь коли он, сохрани Господь, умрет, мы с тобой сиротами останемся. Никита Иванович Романов будет тогда царем, а мы-то что?.. затворницы... схимницы... будем...

Постучался кто-то в дверь.

– Гряди во имя Господне, – произнесла громко инокиня.

Дверь отворилась, и на пороге появился патриарх Филарет: на его голове, на белом клобуке, сиял большой алмазный крест, на груди две драгоценные панагии, в руках же иерусалимские четки.

Инокиня и дочь ее распростерлись пред ним трижды; патриарх благословил их, и после того, как те поцеловали у него руку, и он обнял и поцеловал их.

Поговорив о здоровье, патриарх попросил дочь свою, царевну Татьяну Федоровну, отправиться к матери-игуменье этого монастыря и передать ей от него поклон.

Царевна удалилась. С минуту супруги молчали.

– Да... хотела поговорить с вами, с тобою и с сыном. От приезда твоего сын ставит меня в ничто, да и ты только и думаешь, как бы мне сделать досаду... Людей моих прогоняете, родственников в ссылку ссылаете, грабите их...

– Награбленное ими неправо возвращается в казну или лицам ограбленным, – пояснил патриарх.

– Вам обоим дела нет, – горячилась инокиня, – ни до заслуг сосланных или томящихся в темницах лиц, ни до слез их семейств и родственников, ни до народного говора и негодования...

– Так тебе кажется в келье, царица; мы с сыном все это принимаем во внимание; а потому, чтобы утереть народные слезы, унять народное негодование, народную молву и говор, мы сослали думного дьяка Грамотина и его единомышленных бояр окольничих и думных дворян, – все это крамольники, воры, изменники и грабители... Вот на кого ты намекаешь...

– Грамотин честно и верно служил мне и сыну моему.

– Тебе, царица, быть может, но не сыну твоему. Грамотин дерзал даже ссылаться с поляками, чтобы меня из пленения не отпускали, грозя им большой бедой.

– Это поклеп, неправда...

– Такая же святая правда, как то, что он целовал крест Шуйскому и Сигизмунду, и Тушинскому вору, и Владиславу, и, наконец, моему сыну Михаилу.

– Пушай Грамотин тебе стал не люб из-за ревности.

– Царица-инокиня, не срами ни себя, ни меня. Не вызывай моего гнева! Ты забыла, с кем говоришь, с патриархом всероссийским, а патриарх не может иметь ревности к женщине. Я весь предан служению царству и пастве: здесь все мои помышления, все мои думы, здесь же, коли встречается враг или царя, или земли русской, – у меня пощады нет.

– Громко ты говоришь, святейший, а словом не испугаешь... Что сделали царю или земле русской Салтыковы? Они служили верой и правдой им и Тушинскому вору крест не целовали, – злобствовала инокиня.

– Бросаешь ты, инокиня, камушки в мой огород. Но забываешь ты, что я сослан воров Годуновым в Ростов, Лжедмитрия не знал, а Тушинский вор вызвал меня оттуда, возвеличил, обращался со мной как с отцом, – я и принял его за настоящего Дмитрия. А когда он пал, целовал я крест со всей Москвой Владиславу; потом терзали, мучили, чтобы я целовал крест отцу его, хотели сделать униатским архиепископом, первым лицом в государстве, примасом, – я отказал: веры своей не переменю.

– Теперь сам латинство вводишь в Чудовом монастыре, – прошипела инокиня.

– Дуришь ты, царица, – волос долог, да ум короток. Просвещаю я невежд, а без греческого и латинского языка книги порядочной не прочитаешь – все на этих языках... Да и свет

Христов, просвещающий всех, исходит из книг на этих языках. Слышала ты звон, да не знаешь, в какой церкви, и тоже туда ж.

– Ладно, пушай Грамотин вор, зачем сослал Салтыковых?

– За их воровство, зачем своевольничали, грабили царские земли, зачем творили иные бесчинства, зачем разрушили царское счастье с Хлоповой.

– Машка не была его судьба – она испорчена.

– Все это ложь и неправда, а знаю я лучше, почему им не по сердцу была царская невеста. Боялись они возвышения Ивана и Бориса Хлоповых, боялись, что будут у царя дети, и коли я умру в пленении, в неволе, а царь будет без детей, то царством будешь править ты, да с ними да с Грамотиным. Знамо куда оно шло! А Хлопова – девица прекрасная, богобоязненная, разумная и будет она добрая жена мужу...

– Не будет холопка да сибирная женою моего сына! – топнула ногами инокиня. – Из-за нее, из-за холопки, воровки, сослала моих племянников... Ни за что! Ни за что!..

– Царица, губишь ты и царство и юного царя! Гляди, ходит он точно сонный; взрастила ты его в монастыре, а потом здесь, точно бабу какую; не имеет он ни воли своей, ни разума...

– Он дурак, по-твоему?

– Не говорю я это, а кровавые слезы лью, как вспомню, что будет с ним и с царством, коль я умру. Кругом враги: шведы, ливонцы, поляки, татары, – да нас растерзают на части. А тут Михаил беспотомственен. Бога ты не боишься: ему уж скоро третий десяток пойдет, и не женат... Посылали мы к королям датскому и шведскому взять оттуда невесту, да поляки губят дело. Мы-де варвары, людоеды, а жены наши-де пьяницы.

– Нужно взять чужеземку, своих не хочу. Наши холопки... презренная тварь... сволочь...

– Иноземки веры не хотят нашей принять; так возьми себе в невестки Хлопову, царь Михаил говорил: она ему-де сердечна, – убеждал патриарх.

– Да мне не по сердцу. Коли затеешь сватовство – благословения не дам.

– Прошу, умоляю тебя, царица. – И патриарх поцеловал у нее руку.

– Понимаю теперь все... все так ясно; тебе Хлопова Машка дорога... очень дорога...

Отписывал ты грамоту из пленения; взять Машку ко дворцу как царскую невесту, Хлоповы-де в Тушине были верными мне слугами, и в болезни моей жена Ивана, Ирина, ходила за мною, как за братом, а дочь ее Марья радовала мои очи, и вспоминал я дочь мою дорогую Татьяну... Так описывал ты, а теперь хочешь, чтобы дочь полюбовницы твоей была моей невесткой... Николи... скорее смерть, чем грех такой...

– Царица, гнев безумен, опомнись, что говоришь ты. Ирина давно умерла, и не черни ее памяти без причины – это грех великий. Но коли ты сказала уж такое слово, так не быть ей моею дорогою дочерью, не быть ей царицей... А сына все женить надоть. У князя Владимира Долгорукова дочь Марья; люди бают, она умна, хороша, богобоязненна, да и именитого она рода.

– Не будет она женою моего сына, – князь Владимир враг моему роду, – вспылила царица-инокиня.

– Полно дурить, – рассердился патриарх, – твой род не царский дом; дом этот – дом Романовых, и коли Долгорукие князья этого дома, так ты со своим-то не суйся.

– Не дам благословения, – упорствовала инокиня.

– Нет, дашь! – вскочив с места, воскликнул патриарх, весь дрожа от гнева. – Вступлю я в права мужа и патриарха, не спросясь царя, возьму тебя в пытку и всех твоих бояр. Повинитесь вы тогда во всех своих неправдах, кознях, крамолах и воровствах, и тогда – горе вам! И Грамотин и многие иные всплывут наружу, и будет казнь вам так страшна, что сам царь Иван Грозный с Малютой да Вяземским дрогнут в гробу. Завтра, инокиня, приедет к тебе сын твой, царь Михаил, и уповаю, ты дашь ему свое благословение. Клянись перед иконой.

Во все время этой речи царица бледнела и трепетала, и когда патриарх кончил, она упала на колени и произнесла:

– Клянусь!.. Ладно...

Филарет посмотрел на нее с минуту сурово, потом тихо и величественно вышел из ее келии.

– Не судьба моему сыну Хлопова, – вздохнул он, садясь в колымагу.

VIII

Переезд отца Никиты в Москву

С отъездом боярина Шереметьева в Москву страшное предчувствие овладело и Хлоповой, и отцом Никитой, и его женою. Злодейка, о которой говорила цыганка, не выходила у первой из головы, и она смущала ею своих друзей. Священник сколько мог утешал и успокаивал ее, но вскоре была получена воеводою грамота – удвоить кормы бывшей царской невесты, без всяких дальнейших пояснений причин.

Друзья ее поняли, что это начало царской милости и что впереди остальное; но проходит еще один томительный месяц, и из Москвы нет никаких вестей.

Хлопова просто изнывает. Поговорили между собою ее друзья, и отец Никита вновь пускается в путь: второй нижегородский воевода едет туда по делам своим и берет его с собою. Приехав в Москву, священник останавливается в каком-то подворье и идет к Нефеду Козьмичу.

Нефед встречает его радостно, обнимает и целует, но когда тот нетерпеливо спрашивает его, как решена судьба Хлоповой, Нефед смущенно садится и говорит:

– Патриарх сказал «не судьба»! Царица-де мать не дала благословения за ссылку Салтыковых.

– И что же дальше?

– Царь обручен с княжной Марьей Владимировной Долгорукой, и я, увы и ах⁵, должен в церкви при венчании держать фонарь – вот все, что могу передать. Патриарх сам и огорчен и озлоблен: сходи к нему, он рад будет тебя видеть.

С этими словами священник простился с Нефедом Козьмичом и ушел.

Неделю спустя отец Никита сидел уже в Нижнем со своею женою, в своем домике.

Он только что возвратился из Москвы, и супруги толковали, как предупредить Хлопову о постигшем ее несчастии.

Слезы лились у них из глаз; но вот обрадовала его жена: она почувствовала ребенка, она – мать...

В этот миг вошла к ним Марья Ивановна. Увидав священника, у нее замерло сердце; по условию, он должен был из Москвы прямо заехать к ней.

– Говори скорей, отец Никита, что царь, – произнесла она, задыхаясь и опускаясь на ближайший стул.

Прасковья Васильевна бросилась к ней и, обнимая и целуя ее, со слезами произнесла:

– Не судьба, видно, твоя царь...

– Кто ж мешает моему счастью?

– Не патриарх и не царь...

– Догадываюсь... царица...

– Да, царица...

– Недаром, хотя она меня миловала, а сердце мое не лежало к ней. Царь женится?

– Женится, на Долгорукой, княжне Марье Владимировне.

– И скоро свадьба? – как-то бессознательно и безумно спросила Хлопова.

– Скоро, после Филипповского поста.

Хлопова упала без чувств на пол.

Священник позвал людей, перенес ее в ожидавший ее возок и отвез домой.

⁵ Тогдашнее современное восклицание.

Заболела Хлопова горячкой, пролежала почти всю зиму, а на весну хотя и встала с постели, но ее узнать нельзя было: из прежней здоровой и свежей девицы сделалась тень. Ходит она молчаливая, и только кашель прерывает тишину ее уединения; никто от нее никогда не слышит жалобы, как будто все прошлое умерло.

Часто посещают ее отец Никита и его жена; она принимает их с явною радостью, но в разговор с ними не вступает, а отвечает только: да или нет.

Но вот наступает светлый праздник. Для Хлоповой это был прежде великий день: ее весь Нижний Новгород очень любил и являлся с поздравлением. Поэтому вся Страстная неделя, бывало, проходила у нее в приготовлении к приему гостей. Большие столы нагромождались разным вареньем, печеньями и напитками; а теперь хотя о чем-то хлопочет и что-то делает Стряпухина, но хозяйка совершенно безучастна.

Гости, однако же, в первый день праздника посещают ее по-старинному, поздравляют, а она сидит у окна, покашливает, отмалчивается и как будто кого-то ждет.

В таком состоянии застал ее и отец Никита. Он подошел к ней – она его узнала, приняла от него просфору, похристосовалась и улыбнулась, что она давно уже не делала.

Она указала ему место близ себя.

– Не простудиться бы тебе, боярышня, у окна? – сказал он.

Та махнула рукой:

– Скорей конец придет. Все разошлись, никого нетути, а я хотела с тобою, отец Никита, поговорить. У меня лежит на душе одно: не знает царь Михаил, как я его любила... как любила; знала я его любовь ко мне. Знаю, кто наговорил на меня и кто сослан...

И он-то в своем царстве да и в своем доме в неволе... Сколько раз говорил он мне. «Не хотел я царствовать, но меня приневолили, грозили и карой неба, и карой народа; заставили меня сесть на престол, и жду не дождусь возврата отца, передать ему и царство и бояр. Бояре заели меня, а матушка-инокиня не меньше их. Люблю я тебя, Машенька, люблю больше жизни, и за тебя бросил бы царство и уехал бы на край, конец света; но мать не дает благословения, а без ее благословения какая жизнь будет». Вот что говорил сердечный на прощанье со мною, когда меня проволокли в Тобольск. И ехала я туда радостная, как и на пир, и любовь его сияла мне, как ясное солнышко, и было мне весело так переносить трудности пути и недостатка... Теперь здесь и хоромы хороши, и наполнил царь мой терем, как чашу, но любовь его погасла и погасла моя жизнь...

Отец Никита стал ее утешать. Она взяла его руку и приложила к своему сердцу.

– Видишь, как оно бьется при одной думе о нем, как бы оно билось, коли б он был близок от меня, коли б мне позволили лишь взглянуть на моего ясного сокола!.. И неужели ты думаешь, что это сердце не вещун? Оно чувствует, что нет более любви ко мне царя. Если бы он меня любил, как прежде, он бы заставил мать дать свое благословенье аль не женился бы на другой. Чем дальше, бают люди, от глаз, тем дальше от сердца – меня и упрятали сначала в Тобольск, потом в Верхотурье, а теперь сюда... И ушла я из его сердца и уйду в могилу.

Она сильно раскашлялась, и кровь пошла у нее из горла.

Отец Никита позвал Стряпухину; та вошла и перевела больную в ее опочивальню.

Ночью потребовали к ней священника для исповеди, причастия и соборования, тот собрал тотчас других окрестных священников и явился к ней.

Хлопова как будто очнулась, когда священники к ней зашли. Сначала отец Никита исповедал ее, потом приобщил, и наконец ее торжественно пособоровали.

Она как будто успокоилась, но полчаса спустя с нею сделалась агония и ее не стало.

Ее торжественно похоронили на местном кладбище, и ежедневно отец Никита и его жена стали посещать ее могилку и украшать ее цветами.

Вскоре жена отца Никиты родила, но неблагополучно: дело Хлоповой и ее кончина сильно на нее повлияли.

Муж ее тоже затосковал; чтобы рассеяться и убить печаль, он еще усерднее взялся за поучение своей паствы.

Но на это его товарищи, священники, глядели как на еретичество и латинство и подбивали фанатиков прихожан говорить ему дерзости на улице и чуть ли не хотели побить его камнями.

Однажды он даже получил подобную письменную угрозу.

Жена посоветовала ему ехать в Москву.

Он отписал об этом грамотку Нефеду Козьмичу, и вскоре был получен патриарший указ о переводе его туда.

IX

Хоть тресни, да женись

Переехал отец Никита в Москву и думал: вот где я отдохну душой, да и жена моя оживет. Вначале и казалось, что оно так будет: он устроился в церковном своем домике скромно, но уютно и рад был, что Нефед Козьмич был от него недалеко.

Почти ежедневно он заживал к нему, и они вдвоем как бы слились душой.

Не была ни у одного, ни у другого в утайке ни одна мысль, ни одно чувство.

Часто говорили они о несчастной Хлоповой и об ее смерти; но Нефед Козьмич утешал его тем, что для счастья Руси, быть может, и лучше, что царь женился на Марье Владимировне Долгорукой, так как и по красоте, и величию, и по уму – это истинная царица.

– Притом, – прибавлял Нефед, – коли, да сохрани господь, умрет патриарх, Долгорукие не позволят наступить себе на ногу и в царской думе будут не последние. Не дадут они в обиду ни земли русской, ни царя.

Несколько дней спустя после этого Нефед возвратился торопливо домой и был необыкновенно пасмурен.

В сильном волнении ходил он взад и вперед по передней в ожидании прихода отца Никиты, за которым он послал.

Когда священник вошел, он испугался: как говорится, на Нефедке не было видно лица.

– Что случилось? – спросил он.

– Идем куда-нибудь, чтобы нас челядь не могла услышать: случилось большое несчастье...

Он отвел его в свою опочивальню, осмотрел ее, как бы боясь, что кто-нибудь не спрятался ли их подслушать.

– Несчастье, и несчастье такое, что и сказать нельзя... Я только что от патриарха – он в отчаянии... Невестка, невестка, на которую он возлагал для Русской земли столько надежд, сильно захворала... и... и нет никакого спасения...

Отец Никита побледнел и задрожал – так известие это поразило его.

– Кто же окружал царицу? – воскликнул он.

– Все ее, царицы-инокини, родственники. Давно уже они сплетничали патриарху, что она-де испорченная: то смеется, то плачет; что она нежного сложения, а тут вдруг заболела, нельзя добиться от нее, отчего она захворала; может быть, она скажет духовнику, но теперешний ее духовник – друг царицы-инокини, и если даже та скажет ему что-либо, то он утаит правду... Мне и пришла мысль предложить патриарху тебя, отец Никита, в духовники, согласишься ли ты на это тяжелое дело?

– Соглашаюсь и готов жизнь отдать за правду! – воскликнул священник.

– Иного ответа от тебя и не ждал. Едем к патриарху.

Приехав к отцу царя, Нефед прямо повел без доклада отца Никиту в комнату, в которой патриарх принимал его уже единожды.

Филарет явно их ожидал, и после обычных земных поклонов их он обратился прямо к священнику:

– Рад тебя вновь видеть у себя. Тебе уж, вероятно, передал Нефед Козьмич о постигшем царя, меня и землю русскую горе. Царица сильно захворала, на духу она, быть может, сознается, в чем ее болезнь. Нужен человек, который бы заставил ее сказать правду. Нефед Козьмич и я находим, что ты лишь один способен это сделать.

– Благодарю святейшего патриарха за доверие ко мне, но не слишком ли много возлагает на меня патриарх?

– Нет, не много. Ты красноречив и сумеешь ее убедить на духу.

– Быть может, с помощью Божьей...

– Но помни – все, что она скажет тебе, ты должен без всякой утайки передать мне как патриарху.

– Само собою разумеется, я обязан святейшему патриарху передать все, что он требует.

– Этого мало – обещаешь ли ты подтвердить все то, что услышишь на духу, даже и под пыткой?

– Обещаюсь.

– В таком разе сейчас я поеду к царю, а ты поедешь с моею свитою.

– Слушаюсь.

Священник и Нефед Козьмич вышли в сени, в ожидании Филарета.

Экипажи подали, Нефед, получив благословение патриарха, уехал домой, а патриарший поезд, в котором находился и отец Никита, двинулся к Грановитой палате⁶.

Оставив свиту в сенях, патриарх вошел в переднюю; там толпились бояре; они все пали ниц перед святейшим, и тот, благословив их, пошел вперед к царю, который находился в своей опочивальне.

Здесь он застал обоих придворных лекарей: Бильса и Бальцера.

Царь дал им знак выйти; он поцеловался с отцом и потом приложился к его руке.

– Что больная? – спросил патриарх.

– Лекаря говорят – нет надежды, – ломал руки царь и горько зарыдал.

– Что за болезнь у нее? Что бают лекаря?

– Ничего, говорят, должно быть, во внутренности что ни на есть испорчено, аль печень, аль селезенка, аль почки, аль кровь, аль желудок, аль легкие; да сглаз, аль наговор, аль волшебство.

– А царица сама что баит?

– Ничего, стонет, кряхтит аль закричит: «Горит голова, в животе точно жжет что, ой! моя смерть пришла».

– Кто при ней?

– Боярыни, все от матушки.

– Заходил ты к ней?

– Заходил, да боярыни бают, непригоже–де мужчине быть, коли баба в болести, – болеть–де сильнее становится... Хотел бы поглядеть на нее, хотел бы поговорить с нею, те не пушают, говорят: инокиня-царица под страхом страшной кары им наказала.

– А царица требует тебя?

– Как не требует – плачет, мечется, зовет к себе на помощь. «Ратуй, соколик ясный, красный, красное мое солнышко, покинул ты меня», – кричит она.

– В таком разе идем к ней.

– А матушка-царица? – затруднялся царь Михаил.

– Иди за мною – один я буду в ответе.

Он взял его за руку, и они, пройдя ряд комнат и коридоров, очутились в передней молодой царицы.

Она была битком набита боярынями и придворными дамами.

Патриарх благословил их и хотел войти в спальню царицы. Боярыни стали на дороге, и одна из них сказала:

– Царица-инокиня наказала не пущать–де.

– Вон! Чтобы и духом вашим не пахло во дворце впредь до царского указа.

⁶ Дворец Романовых был отстроен в конце лишь царствования царя Михаила, и в него переселился Алексей Михайлович при вступлении его на престол.

В секунду все боярыни окаменели, но повелительный жест и вид патриарха заставил их обратиться в бегство.

Патриарх и царь очутились в опочивальне царицы.

Опочивальня была устлана коврами, по углам множество образов в драгоценных ризах, комната заставлена стульями, топчанами и низенькими татарскими столами в виде табуреток с перламутровой инкрустацией. Массивная кровать с перинами и множество подушек высились посреди опочивальни. На одном из столиков виднелся драгоценный золотой рукомойник и такая же чашка.

В комнате было несколько женщин-боярынь, боярская-боярыня, постельничая и несколько других.

Царица была на ногах, а не в постели и одета, как обыкновенно она одевалась в будни, то есть на ней был из толстой парчовой материи сарафан, а поверх него расписная кофта.

Глаза ее горели лихорадочным огнем, чудные темно-русые ее кудри немного выглядели из-за парчового платка, украшавшего ее голову; лицо горело, а глаза немного впали. Увидя царя и патриарха, она сделала шаг вперед, упала на колени и закричала:

– Спасите... спасите... никто не хочет мне помочь... Лекарство врачей противно... омерзительно... оно еще хуже жжет мне внутренность, а боярыни вливают его мне насильно в рот... Прошу воздуха, света... прошу, чтобы меня пустили домой, к родителям... не пущают... Прошу, допустите моего соколика... моего мужа... хочу проститься, не пущают... А все-то боярыни так и лезут из другой комнаты: дескать, царица их умирает, подели при жизни свое добро... Где тут делить, коли все нутро горит и печет огнем...

– Идите прочь отсюда, людоеды, и ждите в передней! – крикнул патриарх.

Боярыни удалились поспешно.

Филарет поднял стоявшую на коленях и рыдавшую царицу.

– Что тебе, дочь моя? – говорил он нежно. – Какая лихая беда тебе приключилась?

– Сама не знаю, святой отец... Вот уже второй день... схватило что нутро... жжет, печет.

– Не дал ли кто тебе зелье какое ни на есть? Не имеешь на кого сумления?

– Ни на кого, – только прошу льду... льду дайте... проглочу, быть может, не так жечь будет...

– Льду! – крикнул бледный и дрожащий царь, взглянув в дверь передней. Потом он подошел к царице и обнял ее; она повисла у него на шее.

– Давно... давно бы так... и легче мне как будто при тебе... и не так страшно... да и умирать легче будет... Не оставляй... не оставляй меня, соколик.

– Мы с тобою останемся... с тобою... не покину я тебя, голубку мою, – успокаивал ее царь.

– Не желаешь ли исповедоваться и приобщиться? – спросил патриарх. – Может быть, получишь облегчение от благодати Божьей.

– Желаю... желаю... только прежде льду... льду давайте...

Одна из боярынь принесла на тарелке лед в кусочках и ушла.

Царица стала глотать жадно лед.

– Как будто легче, – произнесла она тихо, – только силы оставляют меня... Священника... Тоже хочу проститься с царевной Татьяной Федоровной да с родителями моими. Пошлите, пошлите поскорей... да моего духовника не хочу, он прежде все порасспросит, потом идет к царице-инокине и наговорит... Дайте другого, да только не его...

Патриарх вышел распорядиться, а царь остался с женой. Он хотел поцеловать ее в губы.

– Что ты делаешь? – крикнула она, отталкивая его. – Коли во мне зелье, то и ты отравись. Лучше пушай я одна умру за любовь мою к тебе. Не знаешь ты, мой царь, мой соколик, мой муж, как любит тебя твоя Маша, и жаль мне так молодую умереть, но еще жальче – умрет со мною и дитя наше... А я его уже так горячо люблю... так люблю... как будто оно на руках у

меня... улыбается ко мне... и ручки протягивает... Миша! – крикнула она, обняв его горячо и целуя его щеку. – В первый раз я тебя, царь, осмеливаюсь так назвать и прошу позволить тебя называть так до кончины моей! Ты не казнишь меня, и так меня уж казнили за любовь мою. А Мишей я тебя называла всегда в моих думах, и коли б родился сын, и его назвала бы Мишей... Да, Миша, никто на свете так не любил тебя и не будет любить, как я... Ведь мои-то думы и помышления все были о тебе.

В это время возвратился патриарх с отцом Никитой.

Высокий рост, темно-карие умные глаза, красивая борода и представительный, добродушный вид отца Никиты произвели приятное впечатление на царицу.

– Благодарствую, – сказала она.

Царь и патриарх удалились.

Царица поглядела с минуту на отца Никиту, потом опустилась на колени перед иконами и стала тихо шептать молитвы, потом священник накиннул на голову ее епитрахиль и начал с нею духовную беседу...

Царь и патриарх удалились в опочивальню царя и приказали, когда исповедь и причастие окончатся, велеть священнику прийти к ним.

Оба были очень встревожены, а потому у них разговор не клеился.

Раздались вдруг спешные шаги и вбежал священник.

– Царица умирает! – крикнул он.

Патриарх и царь бросились в опочивальню царицы: они застали ее в агонии на одном из топчанов. Вокруг нее толкались уже боярыни – они укладывали ее в кровать.

Несколько минут спустя она, как мраморная, лежала уж в постели, и чрез некоторое время лицо ее начало покрываться черными пятнами.

Царь и патриарх в различных углах неутешно рыдали...

Усопшую выставили на несколько дней на поклонение народа в приемной Грановитой, потом в Успенском соборе и похоронили.

Все это было роскошно, пышно и трогательно, но царицу этим не воскресили.

После похорон и поминального обеда патриарх потребовал к себе отца Никиту.

– Я так огорчен и убит смертью царицы, – сказал он, – что потерял голову и не имел даже времени порасспросить тебя, что говорила она тебе на исповеди.

Отец Никита прослезился и произнес с волнением:

– Это был ангел... и царь и ты лишились его. Она говорила мне о любви своей к царю и к вам, святейший отец... Говорила, как благодарна вам, хотя она никогда об этом вам не высказывала. Скорбела, что с нею умирает и дитя ее во чреве. Говорила она о своих грехах, но грехи у нее ангельские. Простила она свою убийцу... и молилась за нее.

– Убийцу! – вздрогнул патриарх. – И произнесла она имя убийцы? – прошептал он, сжав кулаки.

– После долгого увещевания произнесла, для того чтобы я молился о ней.

– И кто убийца?

Отец Никита медлил.

– Говори, кто убийца, или под пыткой скажешь! – крикнул патриарх.

– Не боюсь я пытки; щажу твое и царя сердце.

– Говори, коль я был бы убийцей, то и меня не жалея... не щади... говори правду... как и где ей дали зелья?

– В Вознесенском монастыре.

– У царицы-инокини? Боже, я предчувствовал... Как же это было?

– Был праздник; почившая царица заехала к царице-инокине, захотелось ей пить, и инокиня повела ее в свою опочивальню и налила ей квасу в золотую чару... Та выпила, и по дороге она почувствовала что-то неладно... потом хуже и хуже...

- И почившая думала...
- Что царица-инокиня дала ей...
- Что, говори?
- Зелья, от которого она умерла.

– Убийца... инокиня... царица-мать, – как безумный ходил по комнате и потирая лоб, твердил патриарх. – Невероятно... как будто сон... Слушай, – остановился он пред священником, – и ты будешь свидетельствовать и под пыткой?

– Хоша жгите.

– Нет, не годится, ты клянись лучше, что никому, никому не скажешь, – это убьет царя; да и народ что скажет? в царском-де доме друг друга заедают, убивают, точно звери лютые. Нет, не говори никому, а коли скажешь кому ни на есть, то нет пытки, нет казни, которая не постигла бы тебя. Помни: тогда лишь смей произнести имя убийцы, коли я тебе прикажу. Теперь ступай с миром, спасибо за верность и правду. Но повторю снова: помни, что и во сне нельзя проговориться, не спи ни с кем даже в одной комнате и знай, что и стены имеют уши... Клянись, что это сделаешь?

– Клянусь.

– Теперь ступай и знай – милость моя тебе навек.

Когда священник удалился, Филарет бросился вон из маленькой своей комнаты и заходил быстрыми шагами по своим обширным палатам; он просто задыхался от волнения.

Множество мыслей мелькали у него в голове, и вдруг, остановившись, он крикнул окольничего Стрешнева.

Окольничий ждал всегда его приказаний в передней.

Лукьян Стрешнев тотчас явился на зов владыки.

– Лукьян, – сказал он, – несколько раз я хотел спросить, как зовут твою дочь?

– У меня две.

– Да ту, знаешь, когда я был у тебя в последний раз... такая нежненькая, белая, с темно-синими глазами... с ямочками на щеках... ты еще подводил ее под мое благословение.

– Авдотья, – обрадовался Стрешнев, что владыка обратил внимание на его дочь.

– Евдокия, – поправил его Филарет и продолжал лихорадочно: – Тотчас беги домой... окружи ее близкими родственниками... не дай ее извести...

– Святейший патриарх, ты пугаешь меня... Разве семье моей грозит опасность или – ей?

– Беги, говорю тебе, тотчас... береги ее... ты головой отвечаешь за единый ее волос... и ко мне не показывайся... дома сиди и береги свою дочь, пока я не позову тебя... Слушайся же, коли я приказываю.

Стрешнев побежал опрометью домой и по дороге думал:

«Уж не испорчен и не рехнулся ли святейший? Но как сказать жене о приказании патриарха?»

Он заблагорассудил лучше заболеть, лечь в кровать и под предлогом, что ему скучно и чтобы дочь за ним ухаживала, он задержал ее близ себя, в своей опочивальне, а вечером, отпуская от себя, он просил, чтобы жена брала ее на ночь с собою в кровать.

Прошло между тем сорок дней траура, который тогда существовал при дворе на случай смерти царя или царицы. Отслужены были панихиды по умершей, и после поминального обеда патриарх поехал навестить царицу-инокиню в Вознесенский монастырь.

Царица после смерти ее невестки Марьи Владимировны или прикинулась, или была в действительности больна, но встретила она мужа кряхтя, охая и жалуясь на разные недуги.

Патриарх выслушал это снисходительно, но с нетерпением. Когда же она кончила, он обратился к ней:

– Царица, ты все говоришь о болести телесной, а о душевной не упоминаешь: разве не болеет твоя душа, что Бог прибрал нашего ангела Марью Владимировну?

– То воля Божья, – вздохнула инокиня, подняв вверх глаза.

– Воля-то воля Божья, но разве не скорбит твоя душа, что ангела не стало, что царь Михаил вновь без жены, да и без потомства?

– Жен не стать искать: их много на свете, а вот матерь едина, – бросила ему шпильку инокиня.

– Так нужно искать ему жену и ищи, – произнес сдержанно патриарх.

– Уж ты ищи... Ты отыскал и Машку Долгорукую, заставил дать свое благословение, вот и покарал Господь за обиду матери.

Патриарх вспылел, но удержался.

– Царица, – произнес он спокойно, – я взаправду думаю день-деньской о сыне; не хочешь ты, чтобы у него было потомство, – я это понимаю... понимаю и цели твои, но этого не будет... я снова женю сына.

– И без моего благословения?

– Хоша бы и без твоего благословения.

– Кто же будет моею царицей, – рассердилась инокиня.

– Твоей и моей царицей будет Евдокия Лукьяновна Стрешнева, дочь моего окольного.

– Авдотька! – вспыхнула инокиня. – Да это будет на смех курам! Щуплая... две помойные ямы среди щек... Да и Стрешневы... хамы... Не будет моего благословения... и поглядишь, и она околет вон как та... ну, покойная Машка.

– Полно, баба, дурить-то, – вышел из себя патриарх. – Коли будет она царицей, поклонись ты ей в ноги, как царице, и не будет она порченная: я окружу ее Стрешневыми, и будут они отвечать мне за нее головой, а к тебе, царица, не будет она ездить и пить квас.

Инокиня бросила на Филарета быстрый взгляд – лицо его было спокойно, но грозно.

– Да, – продолжал он. – Стрешневы будут отвечать за нее головой своей, и всех твоих боярынь я выгоню из дворца, а родственников и всех твоих слуг я и на глаза царицы не пущу. Я буду бодрствовать за нею и за ее детьми, коли Бог их даст, как за зеницу своего ока, и коли ее изведут, как в Бозе почившую, то... то...

– Кто же извел ту? Она сама извела себя, – прошипела инокиня.

– Кто извел ее? А вот что я тебе скажу: коль Стрешнева будет изведена, так я знаю, за кого взяться... Но вместо ссоры ты скажи, дашь ли благословие царю, коли он женится на Стрешневой?

– Не дам.

– И это последнее твое слово?

– По... последнее...

– Так вот тоже мой сказ: возьму я тебя с собой, повезу в Новоспасский монастырь, буду тебя пытать, пока не повинись во всех твоих грехах... Вспомню я многое... вспомню я тебе и квас, которым ты угораздила покойную царицу, и многое, многое иное... Повинись ты тогда и примешь ты схиму, и сошлю я тебя вновь в Ипатиевскую обитель до скончания твоей жизни. Вот тебе, инокиня, и мое то последнее слово. Кайся и скажи: дашь ли слово, что не будешь перечить браку сына?

– Делай что хочешь... Я ничего... Бог да благословит его... мое материнское сердце истерзано... Убивалась я за ним... за сыном-то, а ты угрозы свои напускаешь... Господь с тобой... я больна... и конец-то мой близок... а ты еще... да Бог с тобой.

– То-то, ты помни только – я все знаю и прощаю... прощаю, ибо ты родила царя Руси Михаила Федоровича Романова, Богом избранного, Богом венчанного... Не подобает по этой причине ставить тебя на позор. Но коли ты не покаешься, так глаголю тебе: горе тебе будет и фарисеям твоим... Теперь еду к царю.

Не дав даже ей благословения, Филарет поехал к сыну.

Царь Михаил после смерти жены совсем раскис: он весь день ходил, как шальной, и то плакал, то хохотал без причины. Называли эту болезнь Бильс и Бальцер, придворные врачи, флюксус церебралис, сиречь, приливом крови в голове, вследствие плача и множества поклонов, которые делал по несколько раз в день царь.

Патриарх застал его за этим же занятием в его опочивальне.

– Полно те убиваться. – сказал он, – молод ты, да и царствовать нужно. Назавтра Боярская дума – ты и приезжай.

– Да уж очень, очень сердце болит за покойницу... так и стоит в очах моих.

– Полно, говорю тебе, сын мой, убиваться-то. Была то воля Божья, а не наша... Да к слову, вот тебе и жениться снова надоть... невеста уж ждет тебя.

– Как жениться? Коли я не хочу... Да как же после-то Марьи Владимировны, да жениться? – недоумевал царь Михаил Федорович.

– Да так и женишься.

– А коли я не хочу?

– Царь не может, не смеет этого сказать; хоть тресни, да женись – тебе и царству нужен наследник.

– Да как же? Любил одну, та умерла, теперь женись на другой, а та еще снова помрет: плачь, убивайся, да хорони, да поминки справляй, уж лучше не женись: уж прошу, святейший отец, не жени. А матушка благословение дает?

– Дает.

– Ну, коли дает, так и я... благослови.

– Спасибо, я знал, что не откажешь.

Патриарх благословил его, поцеловал и хотел уйти, да вспомнил:

– Эх! Да я и забыл-то тебе сказать, кто невеста.

– А кто?

Обрадовался царь, что, по крайней мере, узнает кто невеста.

– Дочь Стрешнева, Евдокия Лукьяновна: девица богобоязненная, прекрасная, будет отличная тебе жена, а нам и земле русской царица.

– Евдокия, Авдотьюшка... ничего... спасибо, святейший отец, что радеешь обо мне, а уж я думал, вовек не женись.

– Женим, – проговорил патриарх, уходя поспешно.

– Отец сказал мой: коли царь, так женись, хоть тресни... Этого-то не знал, да и матушка не говорила, – бормотал царь себе под нос.

Возвратясь к себе, патриарх послал за Стрешневым. Тот вскоре явился.

Патриарх испугался, взглянув на его постное, исхудалое лицо.

– Ты болен? – спросил он.

– Здоров, святейший патриарх, да вот лежал в постели.

– Чего же лежал?

– Наказывал ты, дескать, сиди дома, хоша прикинься в болести, я и прикинулся, а дочь-то от себя не отпускал, – все у кровати сидит, а жена на ночь к себе брала... Все сумление что ни на есть...

– Чудак ты, – улыбнулся Филарет. – Да ты, чай, и дочь-то заморил?

– Уморить-то не уморил, а оченно было – не выпускал со двора.

– Так беги же, выпусти ее на воздух, только береги ее пуще прежнего, береги ее... Я прошу тебя, сват.

– Кум, – подсказал Стрешнев.

– Нет – сват... ведь мы теперь сваты; ты не окольный, а уж боярин, настоящий царский тесть, а дочь твоя невеста царская.

Стрешнев точно обезумел – он пощупал себя за лоб, а потом прослезился:

– За верную-то мою службу не заслужил я глумления, святейший отец.

– Полно-то дурить... Шутки не шутит патриарх всея Руси, да еще с кем, с верным царским холопом. А вот ты подь, да оповести жену и дочь-то свою, Евдокию Лукьяновну, да за попом, да молебен... а девичник мы завтра справим в Грановитой, в царских палатах... а там с Богом и за свадьбу... на то воля царя и благословение наше и материнское.

Стрешнев тогда бросился к ногам патриарха, но тот поднял его и поцеловался с ним.

– Ну, сват Гаврилыч, коли Бог благословит нас и мы отпразднуем свадьбу твоей дочери, так уж и ты, жена твоя и дети твои должны будут не отходить от царицы, – такова воля и царя и моя. Теперь ступай с миром, порадуй семью и помни: за Богом молитва, а за царем служба не пропадают.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.